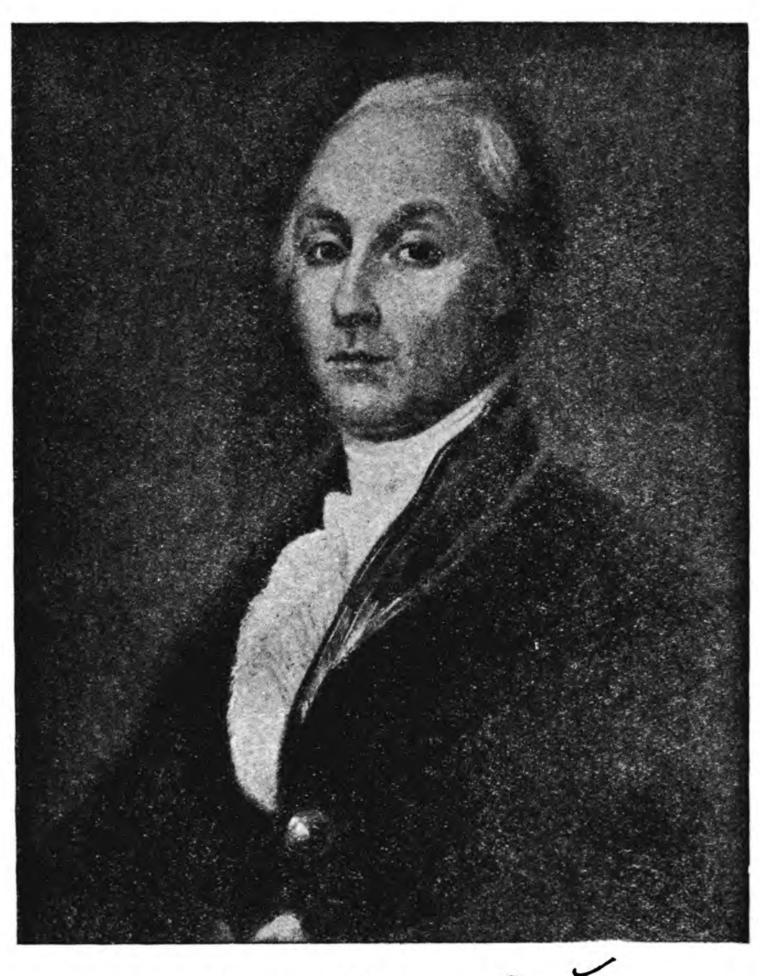
РАДИЩЕВ



Александръ Радищевъ

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

ЛЕНИНГРАД • СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ • 1940

А. Н. РАДИЩЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
РЕДАКЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
Г. ГУКОВСКОГО

ЛЕНИНГРАД • СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ • 1940

P/15

РАДИЩЕВ И ЕГО СТИХОТВОРЕНИЯ

В. И. Ленин писал в 1914 г.: «Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты: мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великоруссов, что *эта* среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика». [1]

Итак, линия преемственности революционной мысли и революционного действия, традиция подлинного демократизма в России находит свое первое замечательное проявление в деятельности Александра Николаевича Радищева.

В своем «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев выступил как подлинный демократ, выступил от лица всего народа против крепостников и их правительства, выступил с призывом к народной революции. В этом его великая заслуга перед русской культурой, перед человечеством. В этом — заслуга его века и русского народа, который выдвинул гениального человека, мыслившего столь последовательно и глубоко революционно, как ни один из его современников во всей Европе.

Радищев вырос в богатой помещичьей семье, в деревне, в Саратовской губернии. Его отец был человеком образованным и не лишенным гуманных настроений; он не угнетал своих крестьян непомерно, и они впоследствии спасли его с семьей (с младшими братьями и сестрами писателя) от смерти во время Пугачевского восстания. Когда Радищеву было восемь лет, его повезли в Москву. Здесь он жил у родственника, М. Ф. Аргамакова, и учился вместе с его детьми. Учителями его были профессора Московского университета (Аргамаков был в родстве с директором университета). Среди учителей был и француз-республиканец, бежавший из своего отечества именно из-за политических преследований.

С самых ранних лет русская передовая общественная мысль была той почвой, на которой росли самосознание и мировоззрение Радищева. Позднее на эту уже подготовленную почву упадут в душе Радищева семена, брошенные великими мыслителями Запада, просветителями и демократами.

В 1762 г. Радищев был «пожалован» в пажи; Пажеский корпус был в меньшей степени общеобразовательным учебным заведением,

[1] В. И. Ленин, Соч., т. XVIII, стр. 81.

чем школой будущих придворных. Пажи учились немного, но их обязывали прислуживать при дворе императрицы. Итак, Радищев еще мальчиком узнал двор, и новые впечатления не могли не оказаться для него тяжелыми. Великолепие, пышность, ореол царской власти вблизи оборачивались другой, закулисной стороной. Усвоив еще в Москве ненависть и презрение к лакейству, бюрократии, произволу деспотии, Радищев должен был с отвращением увидеть механизм придворной подлости и правительственных интриг.

Осенью 1766 г. Радищев был отправлен в Лейпциг, в составе группы молодых дворян, для обучения в университете юридическим наукам. Пять лет, проведенные Радищевым за границей, расширили его умственный горизонт весьма значительно. Он не терял даром времени и занимался науками чрезвычайно усердно. Помимо юридических и исторических наук, он изучал философию, естественные науки. Он прошел почти законченный курс медицинских наук, он внимательно следил за художественной литературой Германии, Франции. В Лейпциге он смог подвести серьезное научное основание под те впечатления, которые он воспринял на родине.

Помимо лекций, Радищев воспринимал науку и культуру из книг. Французские просветители, радикалы и демократы, готовившие в умах революцию, разразившуюся в действительности через 20 лет, были подлинными учителями Радищева в его студенческие годы. Сам Радищев вспоминал впоследствии, как увлекался он со своими друзьями книгой материалиста-просветителя Гельвеция «Об уме», прочесть которую им посоветовал проезжавший через Лейпциг русский путешественник.

Возвращаясь на родину в 1771 г., Радищев молодо мечтал о большой и свободной общественной деятельности на родине.

Крепостническая страна, управляемая самодержавным произволом и грабительской бюрократией, встретила Радищева нерадостными впечатлениями. Он должен был служить. Его определили в Сенат протоколистом. Ни о какой общественной деятельности не могло быть и речи; он был принужден писать канцелярские бумаги. Он бросил службу, поступил на другое место; в качестве юриста он сделался обер-аудитором, т. е. военным прокурором в штабе генерала Брюса.

В 1775 г., когда Радищеву было 26 лет, он вышел в отставку и женился (его жена умерла в 1783 г.). Через два года он вновь стал служить: он поступил в коммерц-коллегию, ведавшую торговлей и промышленностью. Вопросы экономики России интересовали Радищева; занявшись ими практически, по службе, он засел за основательное изучение экономических наук. Президентом коммерц-коллегии был граф А. Р. Воронцов, аристократ-либерал, недовольный правительством Потемкина и Екатерины. Он оценил честность, работоспособность, огромную культуру и огромное дарование Радищева и стал его другом на всю жизнь. С 1780 г. Радищев сделался помощником управляющего Петербургской таможней; вскоре затем он начал фактически исполнять должность управляющего ею; наконец, в 1790 г. он был официально назначен на эту должность.

Радищев служил при Воронцове не ради «карьеры»; он хотел приносить пользу отечеству, и он избрал тот участок управления, где ее можно было принести, — работу по развитию торговли и промышленности в России. Но служба не могла поглотить его целиком. Он хотел служить своей родине иным способом, более труд-

ным и опасным, но и более почетным для свободолюбца. Он хотел сделаться агитатором свободы. Так он понимал дело писателя в крепостнической стране.

Через несколько месяцев после возвращения Радищева из Лейпцига на родину в журнале Новикова «Живописец» был опубликован анонимный «Отрывок из путешествия в*** И*** Т***». Отрывок вызвал толки; им возмущались «наверху» общества. Это было первое произведение в русской литературе XVIII столетия, в котором была дана подлинно-правдивая картина ужаса крепостничества. В настоящее время советская наука признает, что «Отрывок» был написан Радищевым. Это был первый набросок будущего «Путешествия из Петербурга в Москву».

В 1773 г. был напечатан перевод Радищева книги Мабли «Размышления о греческой истории». Самый выбор автора, писателя-демократа, и книги показателен, но не только он. Дело в том, что Радищев сопроводил текст своего перевода (прекрасно выполненного) несколькими примечаниями, обнаруживающими его начитанность; одно из них, однако, имеет характер не фактической справки, а принципиального высказывания. В своем переводе Радищев передает по-русски слово déspotisme как самодержавство. К этому слову он дает сноску: «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти, но нижé закон, извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников опричь права собственныя сохранности» и т. д.

В 1776—1783 гг. произошла американская революция; на месте английских колоний возникла республика Соединенных Штатов Северной Америки.

Впечатление, произведенное американской революцией и победой ее на общественное мнение Европы и в частности России, было очень велико. Вожди революции Вашингтон, Франклин стали героями в глазах всей передовой Европы. Их имена были священны и для Радищева. Американская война за свободу была для всей передовой Европы репетицией французской революции. Она послужила могучим толчком революционной мысли и для Радищева, откликнувшегося на нее одой «Вольность» (1781—1783), самым революционным из всех русских стихотворений XVIII и XIX столетий. Он приветствовал в этой оде вольность американского народа, призывал и прославлял грядущую революцию в России, проклинал тиранов, царей и всех угнетателей народа, развивал целую систему социально-политического революционного мировоззрения.

В 1789 г. накопившиеся силы революции произвели взрыв во Франции. Зашатались троны во всей Европе. Общественный подъем, связанный с началом революции, захватил Радищева. Он уже несколько лет работал над своей книгой, над «Путешествием из Петербурга в Москву». Но в этот острый политический момент, когда вся Европа кипела как котел, готовый взорваться, когда, казалось, все народы вот-вот поднимутся против своих угнетателей, когда Екатерина со смертельным страхом ожидала, что французская «зараза» перебросится в Россию, а многие и многие ее враги и друзья народа ожидали этого же с надеждой, — в этот момент Радищев должен был действовать.

Даже сознание трудностей, может быть — невозможности установить непосредственную связь с народом, не могло заставить Ра-

дищева сидеть сложа руки, быть только наблюдателем или даже изобразителем рабства. Он искал союзников, искал среды для пропаганды. 1789—1790 годы, — это был благоприятный момент, и Радищев использовал его не только в том отношении, что завел типографию у себя на дому и напечатал в ней свою революционную книгу. В 1789 г. в Петербурге образовалось полумистическое, полулиберальное «Общество друзей словесных наук», объединившее молодых литераторов, офицеров (главным образом моряков), чиновников. Радищев вступил в это общество и повел в нем свою пропаганду; он стал захватывать в свои руки и печатный орган общества, журнал «Беседующий гражданин». Он стал одним из центров общества, а оно было довольно многочисленно. В журнале он напечатал свою статью «Беседа о том, что есть сын отечества». В связи с обществом были и другие группы — кружок И. Г. Рахманинова, к которому примыкал и юноша Крылов.

В том же 1789 г. Радищев предпринял шаги к тому, чтобы расширить свою деятельность. Журнал «Беседующий гражданин» вступил в сношения с учрежденной за три года до того Городской думой (упраздненной в 1798 г.). Радищев был явно замешан в этом деле, и вот в «Беседующем гражданине» была опубликована пространная резолюция Городской думы, представлявшая собой развернутое антидворянское выступление, своего рода обвинение дворян и обличение их, написанное в тонах той гражданственности, которая культивировалась в «Обществе друзей».

Связи Радищева с Городской думой этим не ограничились. В мае 1790 г. морская война со Швецией приняла оборот, опасный для Петербурга. И вот в этот момент Радищев оказался инициатором организации ополчения из добровольцев разного рода людей, вооруженных для защиты города. Осуществила эту инициативу Городская дума, которая вынесла постановление о наборе команды в 200 человек, с снабжением ее амуницией и содержанием на общественном жалованье. Правительство утвердило проект; при этом брали в ополчение и беглых от помещиков крестьян. Вся эта затея замечательна. Едва ли это не было своеобразной попыткой вооружить народ (попыткой, может быть, осуществленной лишь в малых размерах) для защиты отечества от внешних врагов, но не только для нее, а и для других возможных целей. Роль национальной гвардии на первых порах французской революции, т. е. именно в 1789—1790 г., достаточно известна. Следует обратить внимание на то, что вооружали беглых помещичьих крепостных, т. е. самый явно недовольный слой народа, которому окончательно нечего было терять (тем самым их и легализовали). 30 июня 1790 г. Радищев был арестован. В начале июля дело его было в полном разгаре. И вот 10 июля Екатерина приказала Брюсу «беглых помещичьих людей» из батальона думы отдать тем помещикам, которые захотят, а остальных — поверстать в обычные рекруты, т. е. в солдатчину. Таким образом затея первого русского отряда национальной гвардии рухнула.

В 1789 г. Радищев вновь выступил в печати после более чем десятилетнего перерыва. Общий подъем отразился и в его литературной жизни. В этом году появилась его анонимная брошюра «Житие Федора Васильевича Ушакова». Брошюра состояла из двух частей: в первой Радищев дал художественно написанный очерк — характеристику друга своей молодости и рассказал о жизни рус-

ских студентов в Лейпциге; вторую составили переводы философских и юридических набросков Ушакова, сделанные Радищевым. Наибольший интерес представляет, конечно, первая часть — очень тонко и глубоко задуманная повесть о молодежи.

Содержание повести Радищева гораздо шире и значительнее внешней рамки мемуарного очерка. Повествуя о борьбе студентов с угнетавшим их начальником, Радищев строит систему образов, заключающую мысль о борьбе народов с их угнетателями. Не только размышления Радищева, вкрапленные в повесть, выдвигают тему революции, но и весь сюжет повести.

В том же 1789 г. Радищев закончил многолетний труд, «Путешествие из Петербурга в Москву». Скорей всего именно особый характер политического момента и удачный опыт выхода в свет «Жития Ушакова» побудили Радищева завершить тотчас же свою книгу и обнародовать ее. Он отдал рукопись ее в цензуру, и петербургский обер-полицмейстер Рылеев пропустил ее, не читая. Однако попытки издать революционную книгу в существовавших тогда издательских организациях ни к чему не привели. Тогда Радищев устроил у себя на дому маленькую типографию. Сначала для опыта он напечатал в ней свою брошюру «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске». Это была статья, написанная еще в 1783 г., посвященная описанию открытия памятника Петру I в Петербурге; она заключала глубокий анализ реформаторской деятельности Петра, которого Радищев ставил высоко как государственного деятеля, но осуждал за то, что он не дал своей стране свободы. Кончалась статья определенным указанием на безнадежность надежд на улучшение положения сверху, с трона.

Затем Радищев приступил к печатанию своего основного труда. В мае 1790 г. в книжной лавке купца Зотова в Гостином дворе появились 25 экземпляров книги «Путешествие из Петербурга в Москву». Имени автора не было на книге. В конце книги была пометка о том, что полицейская цензура разрешила ее.

О книге заговорили в городе. Это было событие, и событие неслыханное. Набат революции зазвучал в царской столице. Книгой заинтересовалась Екатерина. Она принялась читать ее и пришла в ужас. Она написала свои замечания на книгу, не оставив ни одного места ее без злобной критики. Она писала: «все сие... клонится к возмущению крестьян противу помещиков, войск противу начальства», «Сочинитель не любит царей, и где может к ним убавить любовь и почтение, тут жадно прицепляется с редкою смелостию», «Надежду полагает на бунт от мужиков»; об оде «Вольность» — «Ода совершенно и явно бунтовская, где царям грозится плахою». Своему секретарю Екатерина сказала об авторе крамольной книги: «Он бунтовщик хуже Пугачева».

Немедленно начался розыск. Автора вскоре нашли. Екатерина поручила расследовать дело Степану Ивановичу Шешковскому; это был тайный палач и шпион, находившийся в распоряжении императрицы, свирепый «кнутобойца», имя которого внушало ужас. Узнав о том, что ему грозит опасность, Радищев успел сжечь все оставшиеся у него экземпляры книги. 30 июня его арестовали.

Следствие тянулось меньше месяца. Радищев сидел в Петропавловской крепости и должен был бороться на допросах с Шешковским, действовавшим по подсказке Екатерины.

В середине июля 1790 г. дело Радищева поступило на суд Петербургской уголовной палаты. Самое судебное разбирательство было пустою формальностью, трагикомедией, разыгранной по секретным указаниям Екатерины. Сначала читали вслух книгу Радищева. Силы его слова власти так боялись, что во время этого чтения из зала заседания были высланы даже секретари суда. Затем от Радищева потребовали ответов на пять вопросов.

«Вопрос 1-й. — В каком намерении сочинили вы оную книгу?

Ответ. — Намерения при сочинении сей книги другого не имел, как быть известному в свете между сочинителями и дабы прослыть таковым, то есть сочинителем остроумным.

Вопрос 2-й. — Кто именно вам были в том сообщники?

Ответ. — Никого сообщников в оном не имел» и т. д.

Затем, после краткого допроса лиц, причастных к печатанию и продаже книги, судебный процесс окончился. Палата признала Радищева виновным в том, что он издал книгу, «наполненную самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный и умаляющими должное ко власти уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести в народе негодование противу начальников и начальства, и, наконец, оскорбительными, неистовыми изражениями противу сана и власти царской».

24 июля палата вынесла Радищеву смертный приговор.

26 июля приговор поступил в Сенат на утверждение, — и сенаторы 8 августа утвердили его. 19 августа доклад Сената об этом приговоре дошел до Государственного совета (так хотела Екатерина), и Совет утвердил его. Радищев ждал смертной казни 1 месяц и 11 дней. 4 сентября был подписан указ Екатерины о замене ему казни ссылкой в Сибирь, в Илимский острог, на десять лет. «Помилование» было мотивировано торжеством мира с Швецией. Что же касается криминальной книги Радищева, она была осуждена на уничтожение.

Радищева увезли в Сибирь. Ссылка в Илимск, почти за семь тысяч верст, в глушь, была рассчитана на то, что Радищев не вынесет ее. Он бы и не смог ее вынести, если бы не А. Р. Воронцов. Это был человек с огромными связями и влиянием. Помимо императрицы, а где надо было — и через нее, он добился того, что Радищев ехал в сносных условиях. Самое путешествие с остановками продолжалось более года. Остановка в Тобольске длилась семь месяцев.

Радищеву жилось в Илимске не плохо. Воронцов посылал ему туда не только деньги, но и книги большими партиями, и инструменты для занятий естественными науками, и лечебные средства (Радищев лечил в Илимске крестьян). Воронцов заботился о старших сыновьях Радищева, оставшихся в Европейской России, и о его семье вообще. Его роль в жизни Радищева в этот период заслуживает самого глубокого уважения и благодарной памяти. Возмущенный лицемерием и деспотическим произволом Екатерины, ее жестокостью по отношению к Радищеву, которого он любил и почитал, Воронцов решил фактически отменить своей властью русского аристократа приговор деспотии, и он добился исполнения своего решения.

Радищев провел в Сибири шесть лет. Он много работал в ссылке — вел свое хозяйство в Илимске, воспитывал и учил своих детей, изучал природу Сибири, быт и экономическое положение этого

края, помогал крестьянам и немало писал. Здесь им было написано рассуждение на экономическую тему — «Письмо о китайском торге», адресованное А. Р. Воронцову. Здесь же он написал обширный философский трактат под названием «О человеке, его смертности и бессмертии», в котором он выступает как материалист, хотя и непоследовательный.

В конце 1796 г. умерла Екатерина II; Павел I позволил Радищеву вернуться в Европейскую Россию, но с тем, чтобы он жил в деревне под полицейским надзором и без права передвижения.

В деревне Радищев продолжал работать, думать, читать. Так, он написал здесь поэму «Бова», из которой до нас дошло только вступление и первая песнь; здесь же он написал очерк о поэме Тредиаковского «Телемахида» — «Памятник дактило-хореическому витязю». В деревне Радищев начал писать «Описание моего владения», агрономический и экономический трактат, в котором он, как видно по дошедшему до нас началу, хотел научно доказать необходимость свободы для крестьян.

В 1801 г. новый царь Александр I освободил Радищева совсем, вернул ему дворянство, чин и орден, отнятые приговором 1790 г. А. Р. Воронцов начал в это время играть роль в правительстве. Царь неопределенно обещал реформы в государстве, разыгрывал либерала и чуть не республиканца. Многие поверили ему и ждали обновления страны. Воронцов привлек Радищева к работе в комиссии составления законов. Радищев принялся за дело с энергией. Он составлял планы нового свободного законодательства и представлял их Воронцову. В комиссии он мужественно проводил свою независимую линию.

Одновременно с этим он не оставлял литературной работы. Повидимому, к этому времени относятся две замечательные поэмы Радищева (обе незаконченные): «Песни древние» и «Песнь историческая». В «Песни исторической», обширном стихотворном рассказе о мировой истории, изложенной с позиций свободолюбия и тираноборчества, Радищев писал о гибели Тиверия, явно вспоминая гибель Павла и имея в виду его преемника:

Ах, сия ли участь смертных,
Что и казнь тирана люта
Не спасает их от бедствий;
Коль мучительство нагнуло
Во ярем высоку выю.
То что нужды, кто им правит?
Вождь падет, лицо сменится,
Но ярем, ярем пребудет.
И, как будто бы в насмешку
Роду смертных, тиран новый
Будет благ и будет кроток;
Но надолго ль? — На мгновенье;
А потом он, усугубя
Ярость лютости и злобы,
Он изрыгнет ад всем в души.

Надежд больше не было. Революция на Западе Европы шла на убыль и превращалась в военную диктатуру буржуазии, и зрелище это было тяжело для Радищева. В России он не видел возможности скорого взрыва. В комиссии составления законов его твердость и свободные взгляды привели к трениям с начальством, для которого Радищев был бунтарь, который и во второй раз может попасть в Сибирь. Радищеву, видимо, даже делали намеки в этом смысле. Жизнь не представляла более для Радищева ничего, во имя чего

можно было бороться. 11 сентября 1802 г. он покончил жизнь самоубийством. Незадолго перед смертью он сказал: «Потомство за меня отомстит».

Без сомнения, огромное значение Радищева в истории русской литературы и европейской общественной мысли измеряется не только его поэтическим наследием, в первую очередь, не им. Радищев для нас — прежде всего автор «Путешествия из Петербурга в Москву», прозаик-писатель, мыслитель, публицист. Именно в своих прозаических произведениях и, в частности, в «Путешествии» он предстает перед нами как великий демократ-революционер, объявивший — первый в нашей литературе — открытую войну самодержавию, монархии вообще, крепостничеству во всех его проявлениях, угнетению народа, какие бы формы оно ни приобретало. Именно здесь он развернул во всю ширь свое всеобъемлющее революционное мировоззрение, охватившее проблемы жизни в самых различных ее проявлениях, — в вопросах экономических, политических, социальных, философских, педагогических, эстетических и др. В «Путешествии» Радищев дал наиболее глубокую художественную интерпретацию действительности, показав в обширной картине всю Россию его времени, выразив свою глубокую веру в русский народ в ряде величественных образов крестьян, героев и мучеников, выразив свою ненависть к угнетателям в ряде отталкивающих образов крепостников, бюрократов, властителей страны. В прозаических произведениях Радищева полнее всего выразилась и его писательская позиция, как последователя передового демократического крыла европейского течения сентиментализма, последователя Дидро и Руссо, вместе с ними стремившегося через систему сентиментализма, открывшего новой литературе конкретного живого человека в его психологической сложности и социальной определенности, к построению реалистического искусства, революционного в своей борьбе с феодальным миром привилегий и с классицистическим миром отвлеченных схем.

Между тем, придавая столь большое значение прозе Радищева, мы не должны обойти вниманием и его поэтическое наследие, также глубоко значительное и в идейном и в непосредственно художественном плане. Пушкин писал о Радищеве: «Вообще Радищев писал лучше стихами, нежели прозою», — и отозвался с похвалою о стихотворении его «Осмнадцатое столетие» и о поэме «Бова». Радищев писал стихи всю жизнь, занимался поэзией с любовью, много думал о поэзии, много работал над разрешением проблем поэзии. Он был превосходно знаком со всеми современными ему течениями западного поэтического искусства; он серьезно изучал и поэзию прошлого, начиная от поэтов античной Греции и «Гюлистани Саадиева» (как он пишет в своем философском трактате) и кончая Мильтоном и Ломоносовым. Какое значение Радищев придавал поэзии, — и даже техническим вопросам стихотворства, которые он глубоко изучал, — видно из того, что он уделил поэзии и проблемам метрики место в своем ответственнейшем труде, «Путешествии из Петербурга в Москву». При этом в своей поэтической работе, как и в своих стиховедческих изучениях, Радищев всегда оставался до конца принципиальным революционером, стремясь к реорганизации русской поэзии, к перестройке ее в направлении усвоения ею задач демократического мировоззрения и пропаганды освободительных идей.

До нас дошло немного стихотворных произведений Радищева; их было, без сомнения, больше. Рассказывая историю своего литературного творчества в письме-показании к Шешковскому из крепости во время следствия о «Путешествии» в 1790 г., Радищев писал о времени до 1775 г., до своей женитьбы: «Родяся с чувствительным сердцем, опыты моего письма обращалися всегда на нежные предметы, но всё было с неудачею». Очевидно, он имел здесь в виду именно поэтическое творчество, может быть, любовные песни. Стихотворения Радищева этого рода до нас не дошли, кроме одной песни; отчасти к этому же кругу тем можно отнести и «Идиллию», и «Сафические строфы». Однако у нас нет оснований отнести именно эти стихотворения к ранней поре творчества Радищева.

Первым из дошедших до нас крупным датированным, хотя и не совсем точно, стихотворением Радищева является ода «Вольность», написанная в 1781—1783 гг. в связи с победой американской революции и являющаяся как бы приветствием русского революционера своим собратьям за океаном. В этой оде Радищев формулирует свои демократические и революционные позиции с неменьшей, пожалуй, отчетливостью, чем в «Путешествии из Петербурга в Москву». Он проклинает в оде рабство и деспотию, призывает день народного восстания, «блаженнейший всех дней», славит революцию, требует казни для царя; он доказывает один из наиболее важных для его социальной программы тезисов, — о невыгодности для народного хозяйства крепостнической системы, доказывает в ряде поэтических образов оды, стремясь одновременно нарисовать величественную картину свободной творческой жизни народа, ниспровергнувшего тиранию и рабство. В той же оде Радищев славит свободный дух и гений человечества, рвущего путы предрассудков, и, наконец, излагает свою философски-историческую концепцию неизбежного перехода общества от рабства к свободе и распадения империалистически расширяющегося государства на союз малых свободных республик (он мечтает о соединенных штатах России). Можно сказать, не опасаясь впасть в преувеличение, что ода «Вольность» — не только первое по времени, но и первое по глубине и охвату проблем непосредственно-революционное стихотворное произведение русской дооктябрьской поэзии.

Значительна идейно-политическая содержательность и других стихотворений Радищева. Он не пропускал случая, например, в поэме «Бова», намекнуть более или менее прозрачно на печальную судьбу русского государства в его время, на узаконенный бандитизм властей и т. п. В поэме «Песнь историческая» Радищев дает обозрение древней истории в качестве ряда иллюстраций для своих тираноборческих идей, в качестве пропаганды освободительного политического мировоззрения (Радищев зависит в своем толковании античной истории от французских просветителей XVIII века). Даже эпитафия, написанная Радищевым для могилы его первой жены (1783), оказалась недопустимой с точки зрения властей, в данном случае духовных, так как в ней выражалось сомнение в бессмертии души, выражалось «безверие» Радищева; вырезать эту эпитафию на могильной плите было запрещено, и Радищев поставил у себя в саду (при доме на нынешней ул. Марата в Ленинграде) памятник, на котором и была написана эпитафия.

Исключительна глубина мыслей в стохотворении «Осмнадцатое столетие» и в неоконченной поэме «Песни древние». Стихотворение

о веке просвещения Радищев написал в тот краткий промежуток времени, когда и он, подобно другим, увлекся надеждами на молодого царя Александра, воспитанника республиканца Лагарпа и на словах — противника тирании всякого рода. Но не в приветствии новому царю смысл этого великолепного стихотворения, — а в приветствии человеческому духу, непобедимому в своем вечном стремлении вперед, к свету и счастью. Радищев тяжело переживает падение надежд на революцию 1789 г.; он видит, что она не принесла человечеству свободы и процветания. И тем более замечателен общий оптимистический тон гимна науке, свободе, прогрессу, созданного Радищевым, уже разбитым, казалось бы, в борьбе, потерявшим всё почти в жизни, уже подходящим к трагическому дню самоубийства.

Такой же оптимистический тон овевает всю поэму «Песни древние», во многом перекликающуюся по своему идейному содержанию с «Осмнадцатым столетием». Только если в стихотворении Радищев говорит по преимуществу о судьбе всего человечества и прозревает его свободное будущее через мрак угнетения в настоящем, то в поэме он воплощает ту же мысль в применении частном, в применении именно к своему народу. «Песни древние» — это поэма о патриотизме и духе свободы, искони свойственных русскому народу. Недаром толчком к созданию этой поэмы Радищевым явилось издание «Слова о полку Игореве». Первым поэтическим откликом на великую древнерусскую поэму в новой русской литературе и явилось произведение Радищева, причем он полностью понял тот пафос патриотизма, ту национальную идею, которые пронизывают «Слово». Радищев описывает нашествие на древний языческий Новгород, не знающий еще чуждой власти, иноплеменников, их грабежи и убийства, — и битву новгородцев за свободу своего народа. Иноплеменники, в изображении Радищева, — это как бы поработители народа, а призывы его героя к лютой борьбе с ними звучат как призывы самого Радищева к беспощадной борьбе народа с угнетателями. Этот метод революционной поэзии изображать современную социальную борьбу в образах национально-освободительной борьбы прошлого хорошо известен у наследников Радищева, поэтов декабристской традиции, Рылеева, молодого Языкова и других. И опять Радищев, видящий, казалось бы, беспросветный мрак настоящего, обращается мыслью к будущему, и бодростью веет от его уверенности в непобедимости народа. В своей неоконченной работе об истории Сибири Радищев писал: «Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ российский. О народ, к величию и славе рожденный! Если они обращены в тебе будут на снискание всего того, что соделать может блаженство общественное!» Характерна и воинственность, которую проявляет Радищев в своей поэме, его беспощадность к врагам. Нет, Радищев не был только книжным человеком, кабинетным интеллигентом. Он был бойцом по натуре, и его не пугала мысль о суровой расправе с врагами свободы. Устами своего героя он прямо обращается к своим современникам с призывом к кровавой мести за порабощенье:

О, род ненавистный
Славянску языку!
Се смерть, сто разинув,
Сто челюстей черных,
Прострет свою лютость

В твою грудь и сердце!
Восплачешь, взрыдаешь:
Не будет спасенья
Тебе ни откуда...
Но... увы! мы только мщенье,
Мщенье сладостное вкусим!..
А враг наш не истребится...
Долго, долго, род строптивый,
Ты противен нам пребудешь...
Но се мгла мне взор объемлет,
Скрылось будущее время.

Этот же священный гнев, это же стремление прямо и с жестокой силой слóва сказать о мести будет потом воодушевлять Рылеева, призывавшего: «Пора, — мне шепчет голос тайный, — Пора губить врагов Украйны» (Исповедь Наливайки), или юношу Языкова, писавшего:

Твои отцы славяне были,
Железом страшные врагам;
Чужие руки их рукам
Не цепи — злато приносили.
И не свобода ль им дала
Их знаменитые дела?..
... На бой! на бой!..

(Баян к русскому воину)

или еще в 1830 г.:

Блажен, кто смелою десницей
Оковы плена сокрушит,
Кто плач Израиля сторицей
На притеснителе отмстит!
Кто в дом тирана меч и пламень
И смерть ужасную внесет!
И о ярким хохотом о камень
Его младенцев разобьет.

(Подражание псалму 136)

Поэтическая работа Радищева примечательна остротой и принципиальностью разрешавшихся ею эстетических задач. Во всех своих произведениях Радищев выступает как противник закостеневшего уже в его время классицизма сумароковского толка, хотя самого Сумарокова он ставил высоко как поэта. Но он исходил в своем литературном мышлении из принципов раннего романтического и раннего реалистического течения, еще не дифференцированного во второй половине XVIII века и обозначаемого обычно в нашей русской науке условным термином «сентиментализм». Радищев отвергал необходимость и возможность творить по правилам, «томным предписаниям» классической теории. Он считал, подобно другим сентименталистам, что источник творчества — это глубины индивидуальной человеческой души, что художник создает образы, несущие на себе отпечаток его личности, склада его мыслей и чувствований; отсюда — несходство созданий различных поэтов. Эта точка зрения обусловлена была борьбой за свободу творца, глубоко связанной с борьбой за свободу гражданина и человека вообще. Само собой разумеется, что требование прав поэта на независимость, как и требование прав индивидуального живого чувства на выражение в искусстве нимало не делало Радищева (как и Руссо или молодого Гете) писателем, выключенным из традиции, как закономерного развития литературы. Более того, Радищев не отказы-

вался от использования форм классицизма, когда они соответствовали данному конкретному творческому заданию, в особенности в начале своего творческого пути. Так, ода «Вольность», написанная в начале 1780-х годов, вырастает на основе старой классической жанровой формы, «философической оды», культивировавшейся в России, например, Херасковым, — но у Радищева наполненной новым содержанием. Однако от русских дворянских поэтов-классиков Радищев взял лишь некоторые внешние признаки композиционного, метрического и, отчасти, языкового порядка. Общий характер оды связывает ее с той традицией французской политической декламационной поэзии, которая выросла на основе переосмысления классических норм перед великой революцией и в начале ее. Это была поэзия од и песен, революционных по содержанию, дублирующих в поэзии художественную установку таких прозаиков, как Мирабо или даже Камилл Дюмулен, например, поэзия Экушар Лебрена, Мари-Жозефа Шенье; с этой же традицией, обновленной в интересах буржуазной революции, классики связана и песня-ода Руже де Лилля «Марсельеза».

Ода «Вольность» не является отказом Радищева от революционных позиций даже в области стиля и жанра, но она показывает, что еще в начале 80-х годов Радищев как поэт ориентировался скорее на французскую традицию, передовую по существу, но в меньшей степени связанную с проблемами романтизма и реализма. Потом советниками Радищева-поэта стали немецкие передовые романтики, поэты школы Клопштока, поэты-патриоты, вводившие в книжное искусство мотивы и образы старинных легенд, фольклора, национальные темы и формы и одновременно стремившиеся к воссозданию в немецкой речи и стихе форм и образов подлинной исторической, могучей и юной, античной поэзии, не пропущенной через сито рационализма XVII века, а понятой в ее первобытной титанической простоте и богатстве (в духе учений Винкельмана, а затем Гердера). Такие представители этого передового искусства, как Фосс, были близки Радищеву и демократизмом и политической прогрессивностью их лирики, их пафоса и мировоззрения.

Передовой демократический романтизм — таков основной стиль поздней поэзии Радищева, несмотря на влияние на «Бову» Вольтеровой «Девственницы». С самыми передовыми идеями романтизма связана и постановка проблемы фольклора в его поэмах.

Интерес Радищева к фольклору имел иной характер, чем фольклорные увлечения русских писателей, работавших до него. Подражания народной поэзии у дворянских писателей означали допущение этой поэзии в круг явлений, признаваемых эстетически законными. Фольклоризацию более принципиальную мы видим у Чулкова и Попова. Но и у них нет, конечно, признания народной поэзии высшей ценностью, нет широкого принципиального подхода к ней. Радищев же, для которого моральная культура народа — высшая культура, видит в художественном творчестве народа основу подлинного искусства. Он чужд уважения к классическому космополитизму. Он усвоил точку зрения Гердера на национальную народную поэзию как на голоса народов и считает, что произведения индивидуальной книжной культуры должны включаться в единую систему этих голосов народов.

На этой основе вырастает и стремление самого Радищева творить на основе русского фольклора, выразившееся, например, в его

поэмах «Бова» (Радищев считал «Бову» народной сказкой, какой она в сущности и стала в XVIII веке) и «Песни древние». В русской народной песне Радищев искал отпечатка свойств русского народа, его исторически сложившегося характера и, — в этом специфическая черта радищевского подхода, — его будущей судьбы, его возможностей в смысле революционного действия. Русская старина для Радищева — не сфера удаления от современности, а отправная точка для ориентировки в ней. В старинной русской поэзии он видит проявление того творческого национального духа, к восстановлению которого он стремится, выступая против дворянской культуры. Пафос гражданской демократической героики, а не феодальный консерватизм побуждает Радищева писать поэму «Песни древние», попытку воссоздания бытия и психологии древних славян; и к «Слову о полку Игореве», использованному Радищевым в этой поэме, он относится таким же образом.

Вообще говоря, революционная тенденция всего мировоззрения Радищева нашла свое выражение и в его поисках как поэта. Он стремится построить поэзию пропагандистскую, включающую при этом всю глубину философской и политической проблематики передового мировоззрения. Ода «Вольность» написана как пламенный гимн, как поэтическая ораторская речь, и в то же время это — своего рода трактат в стихах, в котором излагаются определенные положения политической экономии, дается изложение целой концепции философии истории и т. д. Это — в подлинном смысле слова научная поэзия, и в этом смысле она перекликается с ломоносовской. В некоторых других стихотворениях Радищева соединение агитационной патетики с научностью, иногда с крайней сгущенностью, сложностью смысла не менее, если не более заметно. Радищев строит — с такой последовательной глубиной едва ли не первый в России — подлинно философскую поэзию. До него русские поэты писали немало од-размышлений («философических од»), но они размышляли почти исключительно на темы морально-учительные, иногда политические. Даже религиозные темы трактовались в плоскости морали или же в плоскости лирической. Державин осмелился разрешить философскую тему в оде «Бог», и Радищев подхватил его опыт. «Осмнадцатое столетие» — это опять целая концепция философии истории, это картина прогресса человеческого разума, включающая чрезвычайно поэтическое изображение успехов конкретных наук: физики, астрономии, географии и др. И все обширное научно-философское содержание этого стихотворения согрето пафосом общечеловеческого гуманизма. Научный характер имеет поэма Радищева «Песнь историческая», поскольку она заключает изложение исторических взглядов поэта; в то же время это революционное пропагандистское произведение.

В поэме «Бова» Радищев трактует сказочную поэму в духе Вольтеровой «Девственницы»; он создает произведение, полемически направленное против истолкования жанра поэмы-сказки поэтами русского дворянского сентиментализма, уводившими читателя от острой социальной тематики в мир романтической грезы. Наоборот, «Бова» Радищева пронизан сатирическими нотами, полон пафоса низвержения феодального мировоззрения (см. Л. М. Лотман, «Бова» Радищева. Ученые записки Ленинградского гос. университета; серия филологич. наук, 1939 г., № 3).

Именно в борьбе с сглаженностью, идеологическим оппортунизмом дворянского сентиментализма карамзинского толка, как и в борьбе с механистичностью классицизма строились и новые принципы поэтического стиля Радищева.

Он стремился не к внутренней соотнесенности всех стилистико-композиционных элементов произведения, а к выразительности каждого из этих элементов. Выразительность стиля, мотивов произведения в целом была новым пределом, к которому были направлены усилия художника. Это значило, что если в понимании искусства классицизма каждый элемент художественной структуры был направлен по преимуществу на другие элементы той же структуры и к ним приноравливался, то теперь у Радищева каждый элемент художественной структуры непосредственно и самостоятельно должен был выражать свою тематическую, идеологическую, пропагандистскую зарядку. Тематизм становился законом эстетики, которая не могла уже давать никаких предписаний художнику, поскольку не предписания, а тема, жизнь, идея указывали метод своего оформления.

Поиски выразительности заставляют Радищева нарушать не только классические правила, но и обычные нормы легкой или даже ясной речи. В этом смысле замечательно принципиальное оправдание Радищевым своего собственного стиха из оды «Вольность»: «Во свет рабства тьму претвори». В «Путешествии», в гл. «Тверь», Радищев пишет по поводу строфы, заключающей этот стих: «Сию строфу обвинили для двух причин: за стих «во свет рабства тьму претвори» — он очень туг и труден на изречение ради частого повторения буквы *т* и ради сонтия частого согласных букв — *бства тьму претв* — на десять согласных три гласных, а на российском языке толико же можно писать сладостно, как и на италианском... Согласен... хотя иные почитали стих сей удачным, находя в негладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия...» Трудно ярче противопоставить две точки зрения на стиль: с одной стороны — априорные нормы классической эстетики, с другой — отказ от понятий «художественного» или «нехудожественного» как независимых категорий в творческом мышлении самого Радищева. Отсюда проистекает и языковая смелость Радищева. Он не новаторствует во что бы то ни стало. Установки на новизну стиля как таковую у него нет. Но он ищет неиспробованных форм для нового содержания, для психологического анализа, для революционных идей и революционного пафоса. Его язык иногда очень сложен, синтаксис запутан, слова необычны. И все же он ни в малой мере не орнаменталист, так как в его стиле нет нисколько эстетизации языка как самостоятельной художественной сферы.

Впервые возникшая в России философская мысль требует для выражения сложных связей идей и понятий сложного построения фразы. Новизна самих понятий и новое освещение старых требуют словаря необычайного, соответствующего новизне этих понятий. Эмоциональный подъем требует новых ритмов и пропагандистская установка — ораторской интонации. Язык Радищева бывает темен, потому что он выковывает орудие выражения неслыханных в России идей. Смелость Радищева — не столько смелость экспериментатора-художника, сколько смелость революционера.

Именно поиски индивидуально-выразительных форм стиля привели Радищева и к исканиям в области новых ритмических воз-

можностей стиха. Нивелировка размеров (засилье ямба) в поэзии была так же враждебна ему, как сглаживание стилистической характерности в прозе. Он предлагает ввести в русскую поэзию все богатство античной метрики, использованное уже современными ему немецкими поэтами; тогда ритмическое построение стихотворения сможет отвечать его содержанию, а не будет заданным, как механически-метрический импульс. Радищев защищал свою точку зрения теоретически и в то же время пропагандировал ее своими поэтическими опытами. В частности, он предлагал узаконить соединение разнообразных размеров в пределах одного произведения и попытался практически осуществить это соединение в неоконченной им поэме-оратории «Творение мира». Античные размеры он использует в стихотворениях «Осмнадцатое столетие» (элегические двустишия) и «Сафические строфы». Он работает над усвоением русской поэзии безрифменного стиха («Идилия», «Журавли», поэмы), над строфикой («Песня», «Ода к другу моему»).

Блестящим опытом соединения различных размеров в одном произведении является поэма «Песни древние». Повинуясь внутреннему смысловому заданию, стих этой поэмы легко и без подчеркивания переходит от ямба к хорею, от четырехстопного хорея к двустопному амфибрахию, затем к двустопному хорею и т. д. — и вдруг вторгается в быстрый короткий стих торжественный, плавный гекзаметр, богатый синтаксической и ритмической отделкой, предсказывающей «Илиаду» Гнедича:

Старец умолк — и, очи поникши, стоял неподвижен,
Будто на казнь осужденный. Протекшие скорби предстали
Живы уму его, силою воображенья. Хладеет
Кровь в его жилах; колена трепещут; дыханье стесненно
Грудь воздымало его. — Восседает. — Юноша к старцу,
Очи исполненны слез обративши, тако вещает...

Все эти стиховые поиски Радищев производил обдуманно и сознательно. В «Путешествии из Петербурга в Москву» (глава «Тверь») он писал о Ломоносове: «Подав хорошие примеры новых стихов, надел на последователей своих узду великого примера, и никто доселе отшатнуться от него не дерзнул. По несчастию случилося, что Сумароков в то же время был; и был отменный стихотворец. Он употреблял стихи по примеру Ломоносова, и ныне все вслед за ним не воображают, чтобы другие стихи быть могли, как ямбы, как такие, какими писали сии оба знаменитые мужи. ... Теперь дать пример нового стихосложения очень трудно, ибо примеры в добром и худом стихосложении глубокий пустили корень. Парнасс окружен ямбами и рифмы стоят везде на карауле...»

Радищев, следовательно, был принципиален и в своей борьбе против рифмы как обязательного признака стиха, превратившегося в украшение; ему импонировала мужественная простота стиха античных поэтов и Клопштока, стиха, в котором напев, музыка, звуковая выразительность основана на ритмическом богатстве и инструментовке, а не на опорных созвучиях. Он продолжает: «Долго благой перемене в стихосложении препятствовать будет привыкшее ухо ко краесловию [т. е. рифме]. Слышав долгое время единогласное в стихах окончание, безрифмие покажется грубо, негладко и нестройно. Таково оно и будет, доколе французский язык будет в России больше других языков в употреблении».

В этом же месте своей книги Радищев высказывает желание увидеть Гомера, переведенного на русский язык гекзаметром, задолго до опыта Гнедича, показавшегося таким смелым в начале XIX века. Впрочем, мнение Радищева в этом вопросе не осталось без влияния на Гнедича и поддерживавших его литераторов в их мнении о предпочтительности гекзаметрического перевода Гомера ямбическому. В свою очередь Радищев исходит в этом своем мнении из взглядов Гердера о необходимости переводить стихи размером подлинника, развитых в его статье о Гомере и Оссиане. Интерес Радищева к проблемам ритма и инструментовки стиха и в частности к гекзаметру, стиху великих народных эпопей древности, выразился и в его работе о «Телемахиде» Тредиаковского («Памятник дактило-хорейческому витязю»), специально посвященной тщательному детальному анализу метрической структуры и звуковой организации стихов поэмы. Пушкин сказал о Радищеве: «Между статьями литературными замечательно его суждение о Тилимахиде и о Тредиаковском» (статья «Александр Радищев»).

Впрочем, следует указать, что борьба Радищева с ямбическим «засильем», составляющая содержательный и принципиальный эпизод истории русского стиха, сама по себе нужная и передовая в его время, не могла разрешить проблем реформы ритмики стиха. Сглаженный ямб школы Хераскова, против которого выступил Радищев, вовсе не замыкал в себе всех возможностей этого размера. Новую жизнь ямбу сообщил Пушкин, и с тех пор ямб опять стал едва ли не основным размером русских стихов.

Влияние поэтического наследия Радищева на последующее развитие русской поэзии было значительно. Его ритмические опыты нашли развитие и продолжение у ряда поэтов, его учеников, группировавшихся в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств. В частности, например, Востоков явился учеником Радищева в вопросах стиля и стиха, а отчасти и в вопросах истолкования тематики поэзии. Продолжателем традиции политически-философской радикальной лирики, начатой Радищевым, был Пнин, также связанный и с опытом усложненного поэтического стиля Радищева. Несомненное влияние оказала ода «Вольность» на поэтику и на самое понимание задач поэзии декабристов. Молодой Пушкин также зависел от радищевской традиции. Его юношеская неоконченная поэма «Бова» прямо ориентирована на опыт «Бовы» Радищева. Во вступлении к этой поэме Пушкин писал:

Петь я тоже вознамерился,
Но сравняюсь ли с Радищевым?

Ода «Вольность» Пушкина в какой-то степени также соотнесена с одой «Вольность» Радищева. И в «Руслане и Людмиле» есть еще отражения радищевского метода обращения с сказочным материалом в «легкой», но принципиальной по своим установкам поэме. Выше уже было сказано о воздействии работ Радищева по вопросам гекзаметра на Гнедича. Творческая работа Радищева как поэта не пропала для русской литературы.

Гр. Гуковский

СТИХОТВОРЕНИЯ

ВОЛЬНОСТЬ

ОДА

1

О! дар небес благословенный,
Источник всех великих дел,
О, вольность, вольность, дар бесценный,
Позволь, чтоб раб тебя воспел.
Исполни сердце твоим жаром,
В нем сильных мышц твоих ударом
Во свет рабства тьму претвори,
Да Брут и Телль еще проснутся,
Седяй во власти да смятутся
От гласа твоего цари.

2

Я в свет изшел и ты со мною;
На мышцах нет моих заклеп;
Свободною могу рукою
Прияти данный в пищу хлеб.
Стопы несу, где мне приятно;
Тому внимаю, что понятно;
Вещаю то, что мыслю я;
Любить могу и быть любимым;
Творю добро, могу быть чтимым;
Закон мой — воля есть моя.

3

Но что ж претит моей свободе?
Желаньям зрю везде предел;
Возникла обща власть в народе,
Соборный всех властей удел.

Ей общество во всем послушно,
Повсюду с ней единодушно;
Для пользы общей нет препон;
Во власти всех своей зрю долю,
Свою творю, творя всех волю;
Родился в обществе закон.

4

В средине злачныя долины,
Среди тягченных жатвой нив,
Где нежны процветают крины,
Средь мирных под сеньми олив,
Паросска мрамора белее,
Яснейших дня лучей светлее,
Стоит прозрачный всюду храм;
Там жертва лжива не курится,
Там надпись пламенная зрится:
«Конец невинности бедам».

5

Оливной ветвию венчанно,
На твердом камени седяй,
Без слуха зрится хладнонравно,
Велико божество судяй.
Белее снега во хламиде,
И в неизменном всегда виде,
Зерцало, меч, весы пред ним.
Тут истина стрежет десную,
Тут правосудие ошую;
Се храм Закона ясно зрим.

6

Возводит строгие зеницы,
Льет радость, трепет вкруг себя,
Равно на все взирает лицы,
Ни ненавидя, ни любя.
Он лести чужд, лицеприятства,
Породы, знатности, богатства,
Гнушаясь жертвенныя тли;
Родства не знает, ни приязни;
Равно делит и мзду и казни;
Он образ божий на земли.

7

И се чудовище ужасно,
Как гидра, сто имея глав,
Умильно и в слезах всечасно,
Но полны челюсти отрав,
Земные власти попирает,
Главою неба досязает, —
Его отчизна там, — гласит;
Призраки, тьму повсюду сеет,
Обманывать и льстить умеет,
И слепо верить нам велит.

8

Покрывши разум темнотою
И всюду вея ползкий яд,
Троякою обнес стеною
Чувствительность природы чад,
Повлек в ярмо порабощенья,
Облек их в броню заблужденья,
Бояться истины велел.
Закон се божий, — царь вещает;
Обман святый, — мудрец взывает,
Народ давить что ты обрел.

9

Сей был, и есть, и будет вечной
Источник лют рабства оков:
От зол всех жизни скоротечной
Пребудет смерть един покров.
Всесильный боже, благ податель,
Естественных ты благ создатель,
Закон свой в сердце основал;
Возможно ль, ты чтоб изменился,
Чтоб ты, бог сил, столь уподлился,
Чужим чтоб гласом нам вещал.

10

Возрим мы в области обширны,
Где тусклый трон стоит рабства.
Градские власти там все мирны,
В царе зря образ божества.

Власть царска веру охраняет,
Власть царску вера утверждает;
Союзно общество гнетут:
Одно сковать рассудок тщится,
Другое волю стерть стремится;
На пользу общую, — рекут.

11

Покоя рабского под сенью
Плодов златых не возрастет;
Где все ума претит стремленью,
Великость там не прозябет.
Там нивы запустеют тучны,
Коса и серп там несподручны,
В сохе уснет ленивый вол,
Блестящий меч померкнет славы,
Минервин храм стал обветшалый,
Коварства сеть простерлась в дол.

12

Чело надменное вознесши,
Прияв железный скипетр, царь,
На громном троне властно севши,
В народе зрит лишь подлу тварь.
Живот и смерть в руке имея:
«По воле, — рекл, — щажу злодея;
Я властию могу дарить;
Где я смеюсь, там все смеется;
Нахмурюсь грозно, все смятется;
Живешь тогда, велю коль жить».

13

И мы внимаем хладнокровно,
Как крови нашей алчный гад,
Ругаяся всегда бесспорно,
В веселы дни нам сеет ад.
Вокруг престола все надменна
Стоят коленопреклоненно.
Но мститель, трепещи, грядет.
Он молвит, вольность прорекая,
И се молва от край до края,
Гласят свободу, протечет.

14

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает,
В различных видах смерть летает,
Над гордою главой паря.
Ликуйте, склепанны народы,
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя.

15

И нощи се завесу лживой
Со треском мощно разодрав,
Кичливой власти и строптивой
Огромный истукан поправ,
Сковав сторучна исполина,
Влечет его как гражданина
К престолу, где народ воссел.
«Преступник власти, мною данной!
Вещай, злодей, мною венчанной,
Против меня восстать как смел?

16

Тебя облек я во порфиру
Равенство в обществе блюсти,
Вдовицу призирать и сиру,
От бед невинность чтоб спасти;
Отцем ей быть чадолюбивым,
Но мстителем непримиримым
Пороку, лжи и клевете;
Заслуги честью награждати,
Устройством зло предупреждати,
Хранити нравы в чистоте.

17

Покрыл я море кораблями,
Устроил пристань в берегах,
Дабы сокровища торгами
Текли с избытком в городах;

Златая жатва чтоб бесслезна
Была оранию полезна;
Он мог вещать бы за сохой:
Бразды своей я не наемник,
На пажитях своих не пленник,
Я благоденствую тобой.

18

Своих кровей я без пощады
Гремящую воздвигнул рать;
Я медны изваял громады,
Злодеев внешних чтоб карать;
Тебе велел повиноваться,
С тобою к славе устремляться;
Для пользы всех мне можно все;
Земные недра раздираю,
Металл блестящий извлекаю
На украшение твое.

19

Но ты, забыв мне клятву дану,
Забыв, что я избрал тебя
Себе в утеху быть венчанну,
Возмнил, что ты господь, не я.
Мечем мои расторг уставы,
Безгласными поверг все правы,
Стыдиться истины велел;
Расчистил клевете дорогу,
Взывать стал не ко мне, но к богу,
А мной гнушаться восхотел.

20

Кровавым потом доставая
Плод, кой я в пищу насадил,
С тобою крохи разделяя,
Своей натуги не щадил.
Тебе сокровищей всех мало!
На что ж, скажи, их недостало,
Что рубище с меня сорвал?
Дарить любимца, полна лести,
Жену, чуждающуся чести!
Иль злато богом ты признал?

21

В отличность знак изобретенный
Ты начал наглости дарить;
Злодею меч мой изощренный
Ты стал невинности сулить.
Сгруждениые полки в защиту
На брань ведешь ли знамениту
За человечество карать?
В кровавых борешься долинах,
Дабы, упившися, в Афинах:
Герой! — зевав, могли сказать.

22

Злодей, злодеев всех лютейший,
Превзыде зло твою главу,
Преступник, изо всех первейший,
Предстань, на суд тебя зову!
Злодействы все скопил в едино,
Да ни едина прейдет мимо
Тебя из казней, супостат.
В меня дерзнул острить ты жало.
Единой смерти за то мало,
Умри! умри же ты сто крат!»

23

Великий муж, коварства полный,
Ханжа, и льстец, и святотать,
Един ты в свет столь благотворный
Пример великий мог подать.
Я чту, Кромвель, в тебе злодея,
Что, власть в руке своей имея,
Ты твердь свободы сокрушил;
Но научил ты в род и роды,
Как могут мстить себя народы:
Ты Карла на суде казнил.

24

Ниспослал призрак; мглу густую
Светильник истины попрал;
Личину, что зовут святую,
Рассудок с пагубы сорвал.

Уж бог не зрится в чуждом виде,
Не мстит уж он своей обиде,
Но в действьи распростерт своем;
Не спасшему от бед как мнимых,
Отцу предвечному всех зримых
Победную мы песнь поем.

25

Внезапу вихри восшумели,
Прервав спокойство тихих вод,
Свободы гласы так взгремели,
На вече весь течет народ,
Престол чугунный разрушает,
Самсон как древле сотрясает
Исполненный коварств чертог;
Законом строит твердь природы;
Велик, велик ты дух свободы,
Зиждителен, как сам есть бог!

26

Сломив опор духовной власти
И твердой мщения рукой
Владычество расторг на части,
Что лжей воздвигнуто святой;
Венец трезубый затмевая
И жезл священства преломляя,
Проклятий молньи утушил;
Смеяся мнимого пренещенья,
Подъял луч Лютер просвещенья,
С землею небо помирил.

27

Как сый всегда в начале века
На вся простерту мочь явил,
Себе подобна человека
Создати с миром положил,
Пространства из пустыней мрачных
Исторг — и твердых и прозрачных
Первейши семена всех тел;
Разруша древню смесь спокоил;
Стихиями он все устроил
И солнцу жизнь давать велел.

28

И дал превыспренно стремленье
Скривленному рассудку лжей;
Внезапу мощно потрясенье
Поверх земли уж зрится всей;
В неведомы страны отважно
Летит Колумб чрез поле влажно;
Но чудо Галилей творить
Возмог, протекши пустотою,
Зиждительной своей рукою
Светило дневно утвердить.

29

Так дух свободы, разоряя
Вознесшейся неволи гнет,
В градах и селах пролетая,
К величию он всех зовет,
Живит, родит и созидает,
Препоны на пути не знает,
Вождаем мужеством в стезях;
Нетрепетно с ним разум мыслит,
И слово собственностью числит,
Невежства что развеет прах.

30

Под древом, зноем упоенный,
Господне стадо пастырь пас;
Вдруг новым светом озаренный,
Воспрянув, свободы слышит глас;
На стадо зверь, он видит, мчится,
На бой с ним ревностно стремится;
Не чуждый вождь брежет свое;
О стаде сердце не радело,
Как чуждо было, не жалело;
Но ныне, ныне ты мое.

31

Господню волю исполняя,
До встока солнца на полях
Скупую ниву раздирая,
Волы томились на браздах;

Как мачиха к чуждоутробным
Исходит с видом всегда злобным.
Рабам так нива мзду дает.
Но дух свободы ниву греет,
Бесслезно поле вмиг тучнеет;
Себе всяк сеет, себе жнет.

32

Исполнив круг дневной работы,
Свободный муж домой спешит;
Невинно сердце, без заботы,
В объятиях супружних спит;
Не господа рукой надменна,
Ему для казни подаренна,
Невинных жертв чтоб размножал;
Любовию вождаем нежной,
На сердце брак воздвиг надежной,
Помощницу себе избрал.

33

Он любит, и любим он ею;
Труды — веселье, пот — роса,
Что жизненностию своею
Плодит луга, поля, леса;
Вершин блаженства достигают;
Горячность их плодом стягчают
Всещедра бога, в простоте,
Безбедны дойдут до кончины,
Не зная алчной десятины,
Птенцов что кормит в наготе.

34

Возри на беспредельно поле,
Где стерта зверства рать стоит:
Не скот тут согнан поневоле,
Не жребий мужество дарит,
Не груда правильно стремится, —
Вождем тут воин каждый зрится,
Кончины славной ищет он.
О воин непоколебимый,
Ты есть и был непобедимый,
Твой вождь — свобода, Вашингтон.

Но я очень помню, что въ Наказѣ о сочиненіи новаго уложенія, говоря о вольности, сказано: „вольностію называть должно то, что всѣ одинаковымъ повинуются законамъ. Слѣдственно о вольности у насъ говорить вмѣстно.

I.

О! даръ небесъ благословенный,
Источникъ всѣхъ великихъ дѣлъ;
О! вольность, вольность, даръ безценный!
Позволь, чтобъ рабъ тебя воспѣлъ.
Исполни сердце твоимъ жаромъ,
Въ немъ сильныхъ мышцъ твоихъ ударомъ,
Во свѣтъ, рабства тьму, претвори
Да Брутъ и Телль, еще проснутся,
Сѣдяй во власти, да смятутся,
Отъ гласа твоего Цари.

Сію строфу обвинили для двухъ причинъ, за стихъ, „во свѣтъ рабства тьму претвори. „Онъ очень тугъ, и труденъ на изреченіе, ради частаго по-

Страница первого издания «Путешествия из Петербурга в Москву» (1790) с началом оды «Вольность»

35

Двулична бога храм закрылся,
Свирепство всяк с себя сложил,
Се бог торжеств меж нас явился
И в рог веселий вострубил.
Стекаются тут громки лики,
Не видят грозного владыки,
Закон веселью кой дает;
Свободы зрится тут держава;
Награда тут — едина слава,
Во храм бессмертья что ведет.

36

Сплетясь веселым хороводом,
Различности надменность сняв,
Се паки под лазурным сводом
Естественный встает устав;
Погрязла в тине властна скверность;
Едина личная отменность
Венец возможет восхитить;
Но не пристрастию державну,
Опытностью лишь старцу славну
Его довлеет подарить.

37

Венец, Пиндару возложенный,
Художества соткан рукой;
Венец, наукой сплетенный,
Носим Невтоновой главой;
Таков, себе всегда мечтая,
На крыльях разума взлетая,
Дух бодр и тверд возможет вся;
[По всей вселенной пронесется;]
Миров до края вознесется:
Предмет его суть мы, не я.

38

Но страсти, изощряя злобу,
Враждебный пламенник стрясут;
Кинжал вонзить себе в утробу
Народы пагубно влекут;

Отца на сына воздвигают,
Союзы брачны раздирают,
В сердца граждан лиют боязнь;
Рождается несытна власти
Алчба, зиждущая напасти,
Что обществу устроит казнь.

39

Крутится вихрем громоносным,
Обвившись облаком густым,
Светилом озарясь поносным,
Сияньем яд прикрыт святым.
Зовя, прельщая, угрожая,
Иль казнь иль мзду ниспосылая —
Се меч, се злато: избирай
И сев на камени ехидны,
Лестей облек в взор миловидный,
Шлет молнию из края в край.

40

Так Марий, Сулла, возмутивши
Спокойство шаткое римлян,
В сердцах пороки возродивши,
В наемну рать вместил граждан,
Ругаяся всем, что есть свято,
И то, что не было отнято,
У римлян откупить возмог;
Весы златые мзды позорной
Предательству, убивству сродной,
Воздвиг нечестья средь чертог.

41

И се, скончав граждански брани
И свет коварством обольстив,
На небо простирая длани,
Тревожну вольность усыпив,
Чугунный скиптр обвил цветами;
Народы мнили — правят сами,
Но Август выю их давил;
Прикрыл хоть зверство добротою,
Вождаем мягкою душою, —
Но царь когда бесстрастен был!

42

Сей был и есть закон природы,
Неизменимый никогда;
Ему подвластны все народы,
Незримо правит он всегда;
Мучительство, стряся пределы,
Отравы полны свои стрелы
В себя, не ведая, вонзит;
Равенство казнию восставит;
Едину власть, вселясь, раздавит;
Обидой право обновит.

43

Дойдешь до меты совершенство,
В стезях препоны прескочив,
В сожитии найдешь блаженство,
Несчастных жребий облегчив,
И паче солнца возблистаешь,
О вольность, вольность, да скончаешь
Со вечностью ты свой полет:
Но корень благ твой истощится,
Свобода в наглость превратится
И власти под ярмом падет.

44

Да не дивимся превращенью,
Которое мы в свете зрим;
Всеобщему во след стремленью
Некосненно стремглав бежим.
Огонь в связи со влагой спорит,
Стихия в нас стихию борит,
Начало тленьем тщится дать;
Прекраснейше в миру творенье
В веселии начнет рожденье
На то, чтоб только умирать.

45

О! вы, счастливые народы,
Где случай вольность даровал!
Блюдите дар благой природы,
В сердцах что вечный начертал.

Се хлябь разверстая, цветами
Усыпанная, под ногами
У вас, готова вас сглотить.
Не забывай ни на минуту,
Что крепость сил в немощность люту,
Что свет во тьму льзя претворить.

46

К тебе душа моя вспаленна,
К тебе, словутая страна,
Стремится, гнетом где согбенна
Лежала вольность попрана;
Ликуешь ты! а мы здесь страждем!.
Того ж, того ж и мы все жаждем;
Пример твой мету обнажил;
Твоей я славе непричастен —
Позволь, коль дух мой неподвластен.
Чтоб брег твой пепл хотя мой скрыл.

47

Но нет! где рок судил родиться,
Да будет там и дням предел;
Да хладный прах мой осенится
Величеством, что днесь я пел;
Да юноша, взалкавый славы,
Пришед на гроб мой обветшалый,
Дабы со чувствием вещал:
«Под игом власти, сей, рожденный.
Нося оковы позлащенны,
Нам вольность первый прорицал».

48

И будет, вслед гремящей славы
Направя бодрственно полет,
На запад, юг, восток державы
Своей ширить предел; но нет
Тебе предела ниотколе,
В счастливой ты ликуя доле,
Где ты явишься, там твой трон;
Отечество мое драгое,
На чреслах пояс сил, в покое,
В окрестность ты даешь закон.

49

Но дале чем источник власти,
Слабее членов тем союз,
Между собой все чужды части,
Всяк тяжесть ощущает уз.
Лучу истекшу от светила
Сопутствует и блеск и сила;
В пространстве он теряет мощь;
В ключе хотя не угасает,
Но бег его ослабевает;
Ползущего глотает нощь.

50

В тебе когда союз прервется,
Стончает мненья крепка власть;
Когда закона твердь шатнется,
Блюсти всяк будет свою часть;
Тогда, растерзано мгновенно,
Тогда сложенье твое бренно,
Содрогшись внутренно, падет,
Но праха вихри не коснутся,
Животны семена проснутся,
Затускло солнце вновь даст свет.

51

Из недр развалины огромной,
Среди огней, кровавых рек,
Средь глада, зверства, язвы темной,
Что лютый дух властей возжег, —
Возникнут малые светила;
Незыблемы свои кормила
Украсят дружества венцем,
На пользу всех ладью направят
И волка хищного задавят,
Что чтил слепец своим отцем.

52

Но не приспе еще година,
Не совершилися судьбы;
Вдали, вдали еще кончина,
Когда иссякнут все беды!

Встрещат заклепы тяжкой ночи;
Упруга власть, собрав все мочи,
Вкатяся где потщится пасть,
Да грузным махом все раздавит,
И стражу к словеси приставит,
Да будет горшая напасть.

53

Влача оков несносно бремя,
В вертепе плача возревет.
Приидет вожделенно время,
На небо смертность воззовет;
Направлена в стезю свободой,
Десную ополча природой,
Качнется в дол — и страх пред ней;
Тогда всех сил властей сложенье
[Приидет во изнеможенье.]
О день! избраннейший всех дней!

54

Мне слышится уж глас природы,
Начальный глас, глас божества;
Трясутся вечна мрака своды,
Се миг рожденью вещества.
Се медленно и в стройном чине
Грядет зиждитель наедине —
Рекл... яркий свет пустил свой луч,
И ложный плена скиптр поправши,
Сгущенную мглу разогнавши,
Блестящий день родил из туч.

ТВОРЕНИЕ МИРА

ПЕСНОСЛОВИЕ

ХОР

Тако предвечная мысль, осеняясь собою
И своего всемогущества во глубине,
Тако вещала, егда все покрытые мглою
Первенственные семена, опочив в тишине,
Действия чужды и жизни восторга лежали,
Времени круга миры когда не измеряли.

БОГ

Един повсюду и предвечен,
Всесилен бог и бесконечен;
Всегда я буду, есмь и был,
Един везде вся исполняя,
Себя в себе я заключая,
Днесь все во мне, во всем я жил.
Но неужель всегда пребуду
Всесилен мыслью, мыслью бог?
И в недрах божества забуду
То, что б начати я возмог?
Или любовь моя блаженна
Во мне пребудет невозженна,
Безгласна, томна, лишь во мне?
Всевечно жар ее пылая,
Ужель бесплодно истлевая
Пребудет божества во дне?
Расширим себе пределы,
Тьмой умножим божество,
Совершим совета меры,
Да явится вещество.

ХОР

Вострепещи днесь, упругое древле ничто;
Ветхий се деньми грядет во могуществе стройном,
Да сокрушит навсегда смерть в царстве покойном,
Всюду да будут жизнь, радость, утехи.

БОГ

Но что
Начнем? —
Речем —
Возлюбленное слово,
О, первенец меня;
Ты искони готово
Во мне, я ты, ты я.
Тебе я навсегда вручаю
Владычество и власть мою,
В тебе любовь я заключаю,
Тобою мир да сотворю.
Исполнь божественны обеты,
Яви твореньем божество,

Исполнь премудрости советы,
Твори жизнь, силу, вещество.
Тобою я прославлюсь,
Бездействия избавлюсь,
Ты то явишь, что я возмог,
А я в себе почию бог.

ХОР

Мертвые днесь развевайтеся сени,
Жизни начало зиждитель дает;
В жизни всегдашней не будет премены,
Мрачна пустыня познает, что свет.

СЛОВО

Начнем творить, — что медлю я?
Иль воля вечного бессильна?
Иль мысль его не изобильна?
Иль зрит препону власть моя?

ЧАСТЬ ХОРА

Нежная любовь тревожит
Бесконечные судьбы,
И гаданье скорби множит
Мира будущи беды.

ЧАСТЬ ХОРА

Отверзись мрачная пучина,
Грядущего пади покров,
Явися будуща судьбина,
Предел тебе положит бог!

ХОР

Се исчезает пред взором всезрящим
Века не суща еще темнота,
Се знаменуют рок словом горящим
Мира грядуща всевечны уста.

БОГ

Единым взором все объемля,
Что было, есть и может быть,
Закону моему не внемля, —
Во страхе господа ходить,
Я зрю, что тварь не пожелает,

Кичася гордостью, взмечтает,
Что всей она природы царь.
О бренна и немощна тварь!
Почто против отца дерзаешь?
Или, ослушна, быти чаешь
Блаженною сама собой?
Я мог бы днесь предупреждая
И мысль мою переменяя,
Быть твари повелеть иной.
Не ярый слабостей я мститель,
Отец всещедрый и зиждитель:
Любовию к тебе горю.
Чуждаться будешь совершенства,
Но корень твоего блаженства
В тебе нетленен сотворю.

ЧАСТЬ ХОРА

О любовь несказанна,
Прежде века избранна,
В тебе жизнь и начало
В мире все восприяло.

ХОР

Взора пространства пустыни все с трепетом вечна
В сретенье радостным ликом грядут,
Бездну безвещия зыблет днесь мочь бесконечна,
Мертвые жизнь семена с нетерпением ждут.

ЧАСТЬ ХОРА

Божественна утроба рдеет,
Клубя в рожденье вещество,
Любовь начально семя греет,
Твореньем узришь божество.

СЛОВО

Мысль благая, совершайся,
И превечно исполняйся
Отца мудрости совет,
Да окрепнет в твердь пучина,
Неизмерима равнина,
Где пространство днесь живет.
Оживись, телесно семя,
Приими начало, время,

И движенье, вещество,
Твердость телом,
Жизнь движеньем, —
Се вещает божество...

БОВА

Повесть богатырская стихами

План богатырской повести Бовы

При тихом плавании Бова поет песню, соответственную своей горькой участи. Вдруг восстает буря; все, струся, молятся богу, всякий своим манером. Бова сидит один пригорюнясь, что раздражило матросов; они его бросают в море. Буря утихает, как будто нужно было для утишения ее, чтоб он был брошен. Бова между тем выкинут на берег; лежал долго, встал, идет и видит (описание острова похотливости). Игры, смехи, забавы стараются его целую неделю заводить в любовные сети, но он удерживает свое целомудрие, не ради чего, как по своей новости. Чрез неделю вся прелесть острова пропадает, и он превратился в пустыню; он ходит, находит костер зажженный, на котором горит зажженная змеиная кожа; он ее вынимает, но едва он сие сделал, как день померк, гром восстал; и он видит при сверкании молнии, видит ужасных чудовищ и проч. и между ими идущую жену прекрасную, но взору сурового. Несчастный, ты сохранил мою лютую злодейку, и я тебе всегда буду мстить. Ее угрозы: не властна я в твоем теле, но в сердце твоем; я им тебя накажу. — Между тем видит он из-за горизонта восходящую будто зарю; мрак исчезать начинает, с ним и призраки и вид жены строговзорой; свет множится. Он видит летящую колесницу, везомую лебедями; опустилась, нисходит жена вида величественного, приятного; благодарит, что он ее кожу спас и возобновил ее юность. Повествует о духах, как они властвуют над человеком, а сами подвержены, чтоб умножаться, чрез семь дней обращаться в змий, и если их кожу кто унесет, то они становятся человеки, подверженные всем немощам людским и, по долговременной и дряхлой жизни, может быть, и смерти. Люба украла ее кожу и уже сто лет ее держала, но он ее спас; в бла-

годарность она ему обещает блаженство: силой и красотой одарила тебя природа, но берегись моей совместницы и лесть не принимай за любовь истинную. А чтоб то тебе познавать, вот тебе зеркало; когда, в страсти будучи, ты в него взглянешь, и оно чисто, то любим нелицемерно, ежели же тускло, то любовь плотская, и соперница моя близка. Когда же что захочешь от меня, то помысли, и в зеркале увидишь, что тебе делать. Сказав, исчезла, остров и все из глаз пропало, и Бова очутился на том же песча́ном берегу, где, мы позабыли сказать, что, утомленный плаванием в буре, он заснул. Дивится сновидению своему, но еще больше дивится, видя близ себя малое зеркальцо. Не ведает, сон ли то или мечта. Идет, встречает старца, который ему очень рад. Он его отводит домой, где его все принимают с радостию, дивятся ему, его омывают, наряжают в белое платье и объявляют ему, что он невольник по законам. Он им рассказал свою повесть, скрыв только свой чин. Плачет; из погибели в неволю.

На другой день его выводят на торжище, где его продают садовнику царскому. Сей отводит его в сад; он живет, работает и поет свою песню. Услышала царица, велела привести его к себе и, увидя его столь юна и широкоплеча, влюбилась. Начала к нему приступать. Идет в баню, куда и его зовут; он не соглашается. Его в комнатные наряжают, он стоит за ее стулом. Тут его увидела царевна, влюбляется, не знает, что чувствует, но они сходятся в саду и, знавши, что худо делают, исполняют волю любви. Недолго они тем наслаждалися; царица, гуляя в саду, их застает; ее ревность, бешенство, отчаяние; велит царевну запереть в терем, а его сослала на конюшню. Тоска его, отчаяние.

Между тем помышляет царь отдать дочь свою замуж, боясь следствий свидания с Бовою; клич кличут, чтобы все цари, царевичи и сильны богатыри съезжались на турнир, и кто всех победит, то будет ему зять. В назначенный день собираются на ратное место многие царевичи и богатыри; приходит царь с царицей и приводят царевну. Унылость ее делала ее привлекательнее и черты ее опаснее. Сражаются.

Между тем Бова, горюя о своем жребии, имея всегдашнее желание видеть царевну, вспомнил о своем зеркале, которое всегда носил на шее, взглянул в него

и видит себя в нем в богатырском уборе на коне; внизу сии слова: ступай на поприще и там увидишь. Пошел в конюшню царскую, седлает одного из коней, подле коего находит сбрую ратную богатырскую: латы, шлем пернатый, меч и копие. Наряжается и, опустив зрельницу, едет за город на место поприща. Уже все рыцари побилися, и один остался над всеми победителем, разъезжает гордо; громко возглашает, вызывая на бой. Бова въезжает, пускают его; пускаются, копья их летят в дребезги, вынимают мечи и, наскакав, ударяют друг друга; у Бовы меч переломился; соперник его хочет с размаху в зрельницу ударить, но он, уклоняся, спрыгивает с коня и, прискочив, сдергивает всадника с коня и меч его, вырвав, отбрасывает. Схватываются бороться, и Бова, одолев его, повергает на землю, ставит колено на грудь, снимает шлем и принуждает признать себя побежденным. Тут к нему подступают все и ведут его торжественно; а соперник его скрылся от стыда, яростен и желая мщения; сей был Лукопер, сын Хана Болгарского. Бова венчается царевною; она взлагает на него венец, говорит: будь счастлив, но не со мною. — Ах, прекрасная, ужели Бова недостоин стал тебя, или твоя любовь переменилася? но, хотя победитель, ведаю, что не могу еще быть твоим супругом. Дай мне слово не быть ничьею. — Клянусь, — вещала царевна. Он снял шлем и подошел к царю и царице; сия, увидя его, возгорелась паче любовью; но, дабы положить преграду женитьбе, причла ему в вину, что, не будучи рыцарь, он смел сражаться, и хотя он победитель, но должен сперва заслужить свою вину. И так Бову велели судить, и судьи мудрые присудили сделать Бову рыцарем и велеть ему ехать искать живой воды, которая, по сказанию верных людей, нянь и мамок, течет из горы за тридевять земель в тридесятом царстве. Его посвятили рыцарем, и он надел черные доспехи в знак своей печали, пустился. Выехав за город... — иной спросит: для чего он не ослушался? Нельзя; кто знает, сколь строги законы чести, тот знает, что рыцарских правил ослушаться было нельзя. Да и ныне, когда свинья тебя толкает рылом, то тяни вон шпагу и колись: так честь повелевает. Но преслушался он в том, что захотел видеть царевну и вынул зеркало, посмотрел, видит себя одетого в старушечье платье цыганкою, и слова: иди к терему. Остано-

вился, видит, у дороги лежит одежда, одевается, идет, поет: кто хочет знать свою судьбу, давай тот денег, и узнаешь; кто чает быть царем, ходи тот к нам, и дам ответ; кто хочет знать, что мило сердцу, будет ли то его иль нет, бери от нас совет, и грусть его пройдет! — Старуху, хоть сердце и свербит, но любопытство! зовут цыганку! он поет и велит царевне плакать. Открывается, живет у нее, спит с нею и позабыл про живую воду. Жил у нее четыре месяца, видит в одну ночь, что он упал с терема и зеркало разбил; он, было, в утехах про него и позабыл, пробудился, глядит, видит, зеркало тускло, и едва читает сии слова: лживый рыцарь, не сохраняешь клятву, ты недостоин обещанного блаженства. Спеши обет исполнить, а в наказанье, что послушал своей страсти, зеркало у тебя отъемлется, доколе не исправишься. Едва он сие прочесть успел, зеркало исчезло, а он себя нашел лежащ на земли в доспехах богатырских у ног своего коня и без зеркала. Дивится, но сел и поехал.

Уже проехал он многие земли и царства, путь продолжая на восток, презирая непогоды, зной, холод, жажду, глад, достиг наконец подошвы Тавра. Утомленный долгим путем, он слез, коня расседлал и пустил, а сам снял шлем и лег на мураве; и видит едущего с горы; показался ему исполин, седящ на коне исполинном, но ближе подъехав, увидел, что то был человек сверху, а внизу конь, испужался, но, кликнув к себе коня, надел шлем и поехал. Издали кричал ему чудовище: как смеешь, молокосос, сесть при мне на коня; я Полкан, сын Бреда, сила моя известна в свете; покорись или умрешь, даю тебе время на размышление, погляди на меня поближе. — Бова видит вверху человеческое, но звероообразное, мохнатое лицо, нос красносиний, глаза как угли раскаленные, по пояс был весь мохнат, а ниже пояса конь сильный, у которого недоставало только шеи и головы; на плече держал палицу дубовую или, лучше сказать, дубовое бревно. Бова не устрашился и в ответ ему сказал только: разъезжайся, и поскачем. — Ударились. У Бовы копье разлетелось, ниже оцарапало Полкана, но удар столь был силен, что Полкан упал на колена, а он Бову столь ударил сильно, что Бова слетел с лошади; но, вынув меч, пошел опять против чудовища. Сей ему говорит: Ты первый, кто мог мне дать такой удар и

проч. Твой меч будет безуспешен, ибо я определен умереть от когтей львиных, я их много поражал, но конца своего еще не знаю. Будем друзья, твое мужество мне нравится. Поедем. — Бова ему сказал, куда послан. — Ах! неистовая царица желает твоей смерти, я был в их воле; отец ее за мое озорничество обманом зарыл меня в землю, и кормили меня только хлебом и водою, и меня с тем выпустили, чтобы я тебя убил за то. что про тебя сказали, что обесчестил царевну и бой рыцарский. будучи раб купленный; на погибель твою, — сказал Полкан, — я бы туда поехал и тебе пособил, но тот, в чьей области сия вода, мне брат. — Так сделай же доброе дело, поезжай, освободи мою супругу. — Полкан дал слово, и расстались.

Полкан возвратился и сказал царице, что он не нашел Бову, а ночью, украв царевну, увез ее и поехал; хотел убить мать Бовину и царевну там посадить, чтобы ждала Бовы. Уже они достигли до пределов того государства, но стали отдохнуть, царевна уснула, а проснувшись увидела Полкана мертва и подле него льва издыхающа, у которого разорваны были лапы. Она устрашилась, пошла в город и нанялась в работницы; родила двойни.

Между тем царица, пылая мщением, призвала чародея и сказала, что ей хочется погубить Бову. — Погубить его нельзя, судьбы тому противны, но можно его ввергнуть в несчастье, отняв у него сбрую ратную и коня. — Ступай, — сказала царица. Чародей в миг догнал Бову, который оставался близ града Испагани. Пустил коня. Но чародей прежде вошел в город и солгал царю Салтану, что Бова приехал воевать его государство. И так царь выслал против него много рати, но Бова их прогнал и поехал мимо. А чародей оделся в монашеское дервишское платье, сел на распутьи. День очень был жарок; Бова ехав увидел старца, под деревом пиющего, попросил у него, тот ему подал. и Бова захотел спать. Лег, а чернец снял с него доспехи и, взяв меч и копье, сел на коня его и ускакал, сказав в Испагани, что Бова обезоружен; пришли, взяли его и посадили его в тюрьму. Бова горюет, готовят ему казнь. Ибо тут был царем тот самый Лукопер, которого он победил на поприще. В ту ночь, когда ему было итти на казнь, он, ходя по темнице, ощупал в углу меч, обрадовался; то

меч был богатыря, которого царь уморил с голоду, зарыв в темнице. Как пришли его брать, то он стал убивать тех, которые к нему приближались, наконец, отбил всех и, вышед, пошел вон из города; никто не смел его тронуть. Лукопер, узнав, сам поскакал за ним, но Бова, отвернувшись от его копья, ударил мечем наотмашь и свалил его. Взял его коня и поехал, а рать Лукоперова за него не вступилась.

Наконец достиг Бова той горы, и сражавшись с привидениями и страстями, наконец почерпнул воды, напился ее и в новой силе поехал в обратный путь. Приезжая назад, увидел, что царевна увезена Полканом, а чародей, возвратяся в его доспехах, убил царя с царицей и стал царем. Тогда скоро в цари попадали. Узнав также, что она поехала с Полканом к матери Бовы, он с ратью ходил на то царство, короля убил изменою, а жена его умерла прежде; но дань наложить на царство не мог, ибо там вельможа один начальником был, а царевны не нашел. Бова туда поехал, нашел охотника, принят был, ибо вельможа был его дядька Цымбалда. Бова услышал, что Полкан был умерщвлен львом, и думал, что и царевна также, то по совету дядьки хотел жениться. Он прежде воевал чародея и, убив его, покорил его царство. Все уже готово было, как он, объезжая свое царство, близ маленького отделенного городка увидел двух мальчиков, из коих один шед играл на арфе, а другой пел его любимую песню, что он певал в несчастии; спросил у них, кто они и, пошед с ними, нашел царевну.

БОВА

O che caso! che sventura.

ВСТУПЛЕНИЕ

Из среды туманов серых
Времен бывших и протекших,
Из среды времен волшебных,
Где предметы все и лица,
Чародейной мглой прикрыты,
Окруженны нам казались
Блеском славы и сияньем;

Где являются все вещи
Исполинны и еройски,
Как то в камере обскуре;
Я из сих времен желал бы
Рассказать старинну повесть
И представить бы картину
Мнений, нравов, обычáев
Лет тех рыцарских преславных,
Где кулак тяжеловесный
Степень был ко громкой славе,
А нередко — ко престолу;
Где с венцом всегда лавровым
Венец миртовый сплетался,
Где сражалися за славу
И любили постоянство.
Хоть грешишки кой-какие
Попадались, но их в строку
Невозможно было ставить,
Зане юности проступок,
Неопы́тности погрешность
Есть удел детей Адамлих,
Есть лишь следствие всегдашне
Неизбежное чувств наших.
Но грехов распутства умна,
Грехов хитрого софизма
Там не знали. — — — Да еще же
Я намерен рассказать вам,
Как то свойственно и нужно,
Чуть не вымолвил я — должно
Для того, кто в гости ездил
Во страны пустынны, дальны,
Во леса дремучи, темны,
Во ущелья — ко медведям.
Итак только расскажу вам
То, что льстить лишь будет слуху,
Что гораздо слаще меда
Для тщеславья и гордыни;
А все то, что чуть не гладко,
То скорее мы поставим
В кладовую или в погреб.
И проклятие положим,
Если дерзкой кто рукою
Сняв покров прельщенья наша,

Обнажит протекше время.
Мы проклятье налагаем,
Хоть из моды оно вышло,
Но мы в силах наших скудны;
А когда б властитель мира
Я Тиверий был иль Клавдий,
Тогда б всякий дерзновенный,
Кто подумать смел, что дважды
Два четыре, иль пять пальцев
Ему в кажду дал бог руку,
Тот бы пал под гневом нашим.
А как не дал нам бог власти,
Как корове рог бодливой,
То мы к дерзкому воскликнем:
Отойди, пожалуй, дале,
Поди вон ты, оглашенный;
Мне здесь нужно суеверье;
Обольщен я, но желаю
Обольщен быть... и от скуки
Я потешуся с Бовою.
Я вам сказку тех лет древних
Расскажу, котору слышал
От старинного я дядьки
Моего, Сумы любезна.

Петр Сума, приди на помощь
И струею речи сладкой
Оживи мою ты повесть.
Без складов она, без рифмы
Вслед пойдет творцу Тавриды;
Но с ним может ли сравниться!!

О Вольтер, о муж преславный!
Если б можно Бове было
Быть похоже и коѐ как
На Жанету девку храбру,
Что воспел ты; хоть мизинца
Ее стоить; если б можно,
Чтоб сказали, — Бова только
Тоща тень ее — довольно, —
То бы тень была Вольтера,
И мой образ изваянный
Возгнездился б в Пантеоне.

Но боюся, твоя участь
Будет равная с Жанлисой —
По передним волочиться.

Вы Бову хотя видали,
Но в старинном то кафтане,
Во рассказах няни, мамы,
Иль печатного;... но дядькин
Бова нового покроя,
Зане дядька мой любезный
Человек был просвещенный,
Чесал волосы гребенкой,
В голове он не искался,
Он ходил в полукафтанье;
Борода, усы обриты,
Табак нюхал, и в картишки
Играть мастер; еще в чем же
Недостаток, чтобы в свете
Прослыть славным стихотворцем
Ироической поэмы
Или оды или драмы? — —
Я пою Бову с Сумою!
Возбрянчи, моя ты арфа,
Ныне лира уж не в моде,
Иль вы, гусли звончатые,
Загудите, заиграйте;
Я пою — — — а вас послушать,
О возлюбленны граждане,
К себе в гости призываю.

На Пегаса я воссевши,
Полечу в страны далеки,
В те я области обширны,
Что Понт черный облегают,
Протеку страны и веси,
Где стояло сильно царство
Славна древле Мифридата,
Где Тигран царил в Арменьи;
Загляну я во Колхиду,
Землю страшну и волшебну,
Где Ясон, обняв Медею,
Укротил сурово сердце
Сей волшебницы ужасной.

О любовь, о лесть пресладка,
Можно ль в свете отыскать где
Тебе сердце непокорно?

Посещу я и Тавриду,
Где столь много всегда было
Превращений, оборотов,
Где кувыркались чредою
Скифы, греки, генуезцы,
Где последний из Гиреев
Проплясал неловкий танец;
Чатырдаг, гора высока,
На тебя, во что ни станет,
Я вскарабкаюсь; с собою
Возьму плащ я для тумана,
А Боброва в услажденье. — — —

Из Тавриды в Таман прямо,
А с Тамана чрез Кавказски
Горы съеду я на Волгу,
Во Болгарах спою песню;
Воздохну на том я месте,
Где Ермак с своей дружиной,
Садясь в лодки, устремлялся
В ту страну ужасну, хладну,
В ту страну, где я средь бедствий,
Но на лоне жаркой дружбы
Был блажен, и где оставил
Души нежной половину.
Воздохну, что нет уж силы,
О Ермак, душа велика,
Петь дела твои! — — — Я с Волги
Перейду на Дон, где древле
(Так, как ныне) коней быстрых
Табуны паслися многи,
Где отечество удалых
Молодцов, что мы издавна
Называли козаками.

Сошед с Дона, к Ворисфену
Мы стопы свои направим.
Там Владимир, страны многи
Покорив своей державе,

В граде Киеве престольном
Княжил в блеске пышна сана
Над обширным царством русским,
Окружен всегда толпою
Славных рыцарей российских;
Он для памяти потомства
Живет в Несторе и в сказках.
О блажен, блажен сугубо!

Со Днепра пойдем к Дунаю;
На могиле древней мшистой
Мы несчастного Назона
Слезу жаркую изроним.
От Дуная морем Черным
Поплывем ко Геллеспонту
И покажем ту дорогу,
По которой плывши смело
Войны росские возмогут,
Византии стен достигши,
На них твердо водрузити
Орлом славно росско знамя.
Но то скоро ли свершится?
Будто время уж настало,
Мне то снилося недавно —
Хотя снилось, но не знаю,
Когда будет; — — не пророк я.
Но то знаю — оно будет.

Я к Бове теперь отправлюсь.
А ты, милый друг читатель,
Если лучшее познанье
О странах сих иметь хочешь,
Читай Бишинга — — от скуки.

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Ветр попутный веет тихо
В белый парус корабельный.
Там на палубе летяща
Корабля, что волны зыбки
Рассекал на влажном поле,
Бова сидя песнь унылу
Пел и в гусли златострунны

Брякал легкими перстами.
Пел, стенал, брякал и плакал,
Лил потоки слез горючих.

«Что возможет, ах, сравниться
С лютой горестью моею,
Кто быть может столько бедствен,
Столько бедствен, как Бова?

Лишь светило дня блестяще
Мои очи озарило,
Грусти, горе и печали
Мне досталися в удел.

Желчь сосал я вместо пищи
Из сосцов змеиных лютых,
Колыбель мою качали
Скорбь угрюмая и злость.

Сирота унылый, горький!
Мой злодей мне мать родная!
Она жизнь мою хотела
Чуть расцветшую прервать.

Я один меж всей природы,
Я во всей вселенной странник
И пустынник между тварей
Всех родившихся в любви.

Ах, уныло мое сердце,
Не знай лютой сея страсти;
Ей горят сердца преступны;
А ты будь всегда ей враг».

Песнь скончал, поставил гусли;
Пригорюнясь, взор ко брегу,
Что вдали едва синеет,
Обратил и, воздохнувши
Тяжело, вещал он тако:
«Ты прости, страна родная,
Ты прости, прости навеки.
Мать жестока, мать сурова,
О тебе я не жалею».

Слыша речи столь унылы,
Слыша песни столь плачевны,
Подошла к Бове старуха,
Что в артели корабельной
Должность важну отправляла
Метр-д-отеля, иль — стряпухи.
Хоть всю жизнь на синем море
Провела она с лет юных
В шайке лютых и свирепых,
Ко сребру и злату алчных,
Сих варягов и норманов,
Коим прозвище в дни наши
Не разбойники морские,
Не наездники, не воры,
Сохрани нас бог, помилуй,
Чтоб их на́звали столь мерзко,
Не арабы марокански,
Не алжирцы, не тунисцы,
Но те люди благородны,
Что без страха разъезжают
В те суровые годины,
Как яр Позвизд с Чернобогом,
Пеня волны, окропляют
Их верхи людскою кровью;
Грабят всех — без наказанья.
Хотя выросла старуха
Среди шума волн и ветров,
При воззрении всегдашнем
На жестокости Арея,
Средь стенаний, вопля, крика
Умирающих злой смертью,
Или злее самой смерти
Во оковах срамных, тяжких
Иль железныя неволи,
Иль рабства́ насилья дерзка;
Но была старуха наша
Мягка сердцем и душею,
И с седым своим затылком
Равнодушно не взирала,
Как молоденький детинка
Проливал горючи слезы.
Была ль то одна в ней жалость,
Иль в старухе кровь играла,

Того повесть, хотя верна,
Не оставила на память.
Наша повесть только пишет,
Что, подшед к Бове поближе,
Она руки распростерла
И к иссохшей своей груди
Прижимала Бову крепко.
«Столь ты юн, но столь ты бедствен! —
Возгласила стара ведьма.
(Ведьма добра, мягкосерда,
Не как Киевские ведьмы,
Что к чертям с визитом ездят
На ухвате без уздечки): —
Ты открой свое мне сердце,
Забудь горе на минуту.
Моя власть хоть невелика,
Хоть у всех я здесь служанка,
Но мои старанья нежны
Облегчат твою судьбину».
Говоря сие, отводит
Бову в малую каюту,
Где старуха наша нежна
Обед братьям всем готовит.
Тут, согрев и накормивши,
Бову нежно обнимает,
Очи мокры от слез горьких
Отирает поцелуем.
«Скажи мне, — она вещает, —
Скажи мне свою кручину,
Свою участь мне сурову!»
Бова нежно имел сердце,
В первый раз чрез многи годы
Ощущает он отраду,
Сладость ласки, сладость дружбы.
Ах! какое в грусти сердце,
Сердце сиро, одиноко,
Не внушит приязни гласу
И не сдастся на ласканье
Хоть столетния старухи?
Если витязь Роберт славный
Мог, ступив ногой на нежность,
Обнять старую хрычовку
И в объятьях ее мразных

Совершить победу жарку,
Восхитив цветок иссохший;
Роберт был в любви ученый
И задачу брачна ложа
Мог решить он без поверки;
Нос зажал, глаза зажмурил
И, как витязь македонский,
Узел Гордьев рассек махом, —
То Бове равно прилично
Обнимать старуху дряхлу;
Бова, знаем, парень новый,
Он не видит преткновенья,
Ласке лаской отвечает
И лобзанию лобзаньем;
Ему ж не было задачи,
Как Роберту на решенье,
Ложась с ведьмой спать на ложе.
Старушонку Бова мило
И столь крепко обнимает,
Что напомнил ей то время,
Как ей было лет лишь двадцать.
Не на ложе возлегают,
Но на печку лезут греться,
Зане холодно уж было.
Тут Бова, собрав все силы,
Тут Бова, вздохнув глубоко,
Вынимает из кармана
Платок белый, для запаса,
Чем утрет ее он слезы.
Зане знал Бова заране,
Сколь его плачевна повесть
И что тронет через меру
Сердце добрыя старухи.
Еще раз вздохнул, рек тако:

«Я Бова, Бова царевич...
Ты дивишься тому, вижу;
Но верь совести нелживой.
Я бы мог в том побожиться,
Но божиться не умею
И божиться не охотник.
Город, в коем я родился,
Есть столица сильна царства,

Где пред сим венчанный властью
Держал скипетр царь премудрый,
Царь Кирбит, сын Версаулов,
Славен мужеством на брани,
Славен разумом в советах,
Милосерд и щедр и кроток
И любим своим народом.
Ему дочь была родная
Всех прекраснее из женщин,
Мелетриса ее имя.
Слух о царствии Кирбита,
О его правленьи мудром
И о прелестях царевны
Молва громкая повсюду
До дальнейших мест промчала.

Двор Кирбитов был собранье
Всех красавиц в государстве;
Но меж всеми, яко солнце
Среди звезд эфирна свода,
Красотой своей блистала
Мелетриса, дочь царева.
В красоте она совместниц
Не имела, и не можно
Было чувствовать к ней зависть;
Зане столь была всех краше,
Столь добра, мила, приятна,
Что вблизи ее не смела
Зависть яд пускать свой черный,
И ее ехидны люты,
Мелетрису зря, немели.

Красота толико дивна
Привлекала всех вниманье,
И чувствительность сердечна
Ей платила долг природы,
Воспылав огнем любовным
В груди рыцарей надменных,
В груди рыцарей влюбленных.
Все ей нравиться старались,
Всем хотелось полюбиться
И во юном ее сердце
Воспалить любовный пламень.

Но меж многими другими
Отличались перед всеми
Своим мужеством, красою
Своим нежным угожденьем,
Своей силой и богатством
Два царевича приезжих.
Один горд, спесив, надменен,
Взоры пылки, взоры страстны,
На лице черты Алкида,
Но Алкида в летах юных;
Рост и стан его и взрачность
И осанка величава,
Лице смугло длинновато,
Черны кудри по раменам,
И густой брады начало;
Длань широка, персты толсты
Всем довольно возвещали
Его мужество и силу.
Он наездник в ратном поле,
Богатырь и вождь и воин,
Дадон сильный — ему имя.
Но не только в ратном поле
Подвизался он с успехом;
Столь же славен он у женщин:
А хотя в любви он страстен,
Но подвластен ей он не был,
И с Алкидом чтоб сравниться,
Лишь ему недоставало
Десяти жен и дев красных,
Пятьдесят дщерей Фиспия,
И одной лишь только ночки,
Чтоб ему отцом быть нежным
Пятьдесят раз вдруг в семействе.
Славну рыцарю толико,
Нет, нельзя не полюбиться
Мелетрисе, страстной, пылкой;
А тем больше, как лишь вспомнит,
Что объятья повторенны
В пятьдесят раз нераздельно
Кажду ночь возобновятся.
Пусть бессонница всегдашня
(Столь ужасная больному)
Ее мучит на постеле

(Но сам друг) и жизнь преторгнет;
Так Рафаель из Урбина,
В свете славный живописец,
Душу выслал вон из тела.

Другой рыцарь вежлив, скромен;
Сердце, душу имел нежны,
Очи быстры голубые,
Лицо бело и румяно,
По плечам златые кудри,
Вид, осанка Адонида.
Но он храбр; счастливый рыцарь,
На бою проворен, меток,
Всегда разумом вождаем,
Зрел опасность твердым оком
И в бою смерть хладнокровно.
Он всегда венцы лавровы
Пожинал на ратном поле,
Но не силою десницы,
Не удачей, не коварством
И не крепостью доспехов
Побеждал Гвидон противных.
Правды, истины поборник,
Меч его победоносный
Никогда не обагрялся
Кровью слабых — иль невинных.
Он защитник утесненных,
Разрешитель уз и плена,
Непорочности спаситель,
И его смиренно сердце,
Душа нежна, душа тиха
Воспалялась гневом львиным,
Когда видел он коварство,
Ложь, строптивость и насилье
Угнетающих бессильных;
Тогда воин милый, тихий
Бывал враг непримиримый,
Бывал бич неукротимый
Злобе, буйству и прельщенью.

В таковых душах царевна
Любовь сильну воспалила.
И хотя со перва взгляда

Мелетриса подарила
Свое сердце все Дадону,
Объявить того не смела,
И надежда в ней исчезла
Быть его женой когда бы;
Зане многою услугой
Гвидон юный украшался,
Спасав царство и Кирбита
От насильств вождей Хозарских.
Царь Кирбит за то в награду
Назначал его в супруги
Своей дщери, Мелетрисе;
В том признанием вождаем,
Пользой царства и рассудком.
Заключение неложно,
Что спасителю народа
Управлять его браздами
Других паче всех довлеет.
Гвидон был единородный
Сын на троне старца мудра
И ближайша во соседстве.

Во дни красны, безмятежны,
По скончаньи бедств военных,
Царь Кирбит во утешенье
Своей дочери прекрасной
Игры рыцарски затеял
И глашатаям повсюду
Повелел трубою бранной
Созывать на состязанье
Витязей из царствий разных.
Он хотел при их собраньи
Дать наследника престолу,
Дать супруга Мелетрисе
Храбра милого Гвидона;
Зане там, как прежде в Франции,
Скиптр не мог никак достаться
В руки, пряслицей что правят
Или швейною иголкой.

Уж из дальних и из ближних
Стран слетаются стадами,
Как вороны на гумнище,

Славны рыцари в доспехах,
Молодые, пожилые,
Средних лет и с сединами.
Иной едет повидаться
Со красавицей своею,
Распестрив свое оружье
Поперек и вдоль, крест-на-крест
Тем любимым из всех цветом,
Что понравился пред всеми
Обладательнице милой
Его чувств, души и сердца.
Другой едет, чтоб прославить
Силы крепкой своей мышцы
И прибавить хоть листочек
Во венец, уже столь тяжкий
От побед в кровавых битвах
Иль на славных поединках.
А иной, кружась по свету,
Ко Кирбиту в гости едет,
Как в гостиницу обедать.
Воружась иной от темя
До пяты, и даже зубы
Воружив булатом, сталью,
Смело, борзо выступает,
Объявляя всем надменно,
Всем, про то кто ведать хочет
Иль не хочет, написавши
На своем щиту огромном
Золотыми все словами:
Не терплю ни с кем сравненья;
А там выйдет на поверку,
Что наш рыцарь пресловутый
Позевать приехал только,
И к несчастию случилось,
Что его десница страшна
Онемела, заболела,
Паралич ее ударил;
А то б он единым взглядом
Повалил всех, опрокинул,
Разогнал, развеял прахом.
Что же прибыли? Игры все
Стали б вовсе в пень. — Нет, лучше,

Что болезнь ему случившись
Всех оставила в порядке.

Были рыцари не хуже
Славна в свете Дон Кишота.
В рог охотничий, в валторну
Всем трубили громко в уши:
«Дульцинея Тобозийска
Всех прекраснее на свете».
А как возришься в красотку,
То увидишь под личиной
Всех белил, румян и мушек
Обезьяну, или кошку,
Иль московску щеголиху.
За такую прелесть диву
Он однакож снарядился
На помол отдать все кости.
Но нет нужды знать причину,
Для чего они дерутся,
Мы лишь скажем одним словом,
Что их съехалось отвсюду
Столько, — столько — что нет смети.

Поле ратно окруженно
Со всех стран амфитеатром
Возвышалось. Тут дубовы
Скамьи были все покрыты
Рытым бархатом, парчами,
Алтабасом изошвенным.
Везде видно сребро, злато
И каменья дорогие;
Хитрость зодчества, ваянья
Превышала тут богатство;
И художество в союзе
С драгоценностьми земными
Вид изящности давали
Несказанной всему зданью;
Но искусство свои силы
Истощило под престолом,
Уготованным царице
С ее дочерью прекрасной.
На столпах кристальных твердых,
На сафир во всем похожих,

Что огнем искусство хитро
Из сожжена в пепел древа,
Из песка, иль камня бела,
Зной сугубя, сотворило,
Возвышался свод порфирный,
Испещренный весь цветами,
Где, природе подражая,
Рука мастера искусна
Изваяла их из злата.
Перлы светлы и жемчужны
Внизу свода, меж столпами
В круг висели ожерельем.
В верху свода образ светлый
Возвышался в виде буйном
Той богини, вслед которой
Праотцы славян издревле
Вихрем бурь носились всюду. — —
Лучезарная богиня,
Слава, дщерь мечты, призрáков!
На престоле мглы блестящей,
Звезд превыше и Олимпа,
Из-за облака златого
Кажешь ты венцы лавровы.
Но лице твое кто узрит?
Кто существенность постигнет
Твою? — Легкой ты завесой
Паров утренних, прозрачных
Прикрываешь черты шатки;
И тебя сквозь их лишь видит
Пылкий взор воображенья.
Лишь оно тебя рисует
И такими лишь чарами,
Как ему угодно только. — —

Посреди широка поля
Жертвенник из твердой стали
Блещет зéркальным сияньем;
Фимиам тут не курится,
Брус стланцова черна камня
Тут лежит на изощренье
Копия, меча, булата,
Чем обильны всегда жертвы
Славе в честь приносит воин.

Ибо нет *попов* с причетом.
Ни *жрецов* у ней священных.
Кто грудь смелую имеет,
Твердый дух в бедах на брани,
Кто храбр, мужествен, отважен,
Тот есть жрец сея богини.

День настал уже тот грозный,
Равно скучный и веселый,
Где богиня лучезарна
Уделит своего блеска
Гордым всем своим любимцам,
Иль покроет грязью срама
Всех тех, коим она кажет
Свой затылок безволосый.
Зане так же, как фортуна,
Сестра славы, легконога;
У ней волосы тупеем
Растут спереди косою,
А затылок весь плешивый.
Они моде сей учились
(Мы здесь скажем мимоходом
Для того, кто не читает
Путешествиев всемирных)
У мунгалов иль китайцев,
Иль в Тибете, иль Бутане,
В той стране благословенной,
Где живет тот царь священный,
На востоке столько чтимый;
Его бабка повивальна
Рассказала, и все верят,
Что он выше всех на свете,
Никогда не умирает;
Его смерть не есть кончина,
Его смерть есть прерожденье;
Что в мгновенье то ужасно,
Как дух жизни непостижный
Обветшалое жилище
Мертвый труп наш оставляет,
Божество сие двуножно
Преселяется в младенца
Или в юноша любезна;
Чтоб счастливым правоверным

Опять в знак щедрот небесных
Рассылать (но на закуску
Для десерта в день торжествен)
Своих сладких яств останки,
Что в священных его недрах
Благодатная природа
В млеко жизни претворила.
Вещество сие изящно,
В чем алхимик остроумный
Парацельс иль Авицена,
Или Бехер, иль Альберты
Злата чистого искали;
В чем счастливый Брант и Кункель,
Светоносный луч открывши,
Пред очами изумленных
Возжигали (без огнива)
Огонь в трубках и курили
Траву пьяну некоцьянску,
Табаком что называют.
Но где меньше их счастливцы
Все отеческо наследство,
Накопленно и стяжанно
Кровью, потом и трудами,
Иль грабительством, мздоимством,
Иль другим путем превратным,
Пережгли, передвоили.
О, сколь счастлив был бы смертный,
Если б все богатства в свете,
Злостяжанные неправдой,
Обращалися чудесно
В вещество сие изящно,
Далай-Лама которо
Всем в подарок правоверным
Для десерту рассылает;
Если б в нем фосфор блестящий
Раз сверкнул и превратился б
В пары светлы исчезая;
И исчезнув бы оставил
Лишь уханье Амвросийно,
Столь известное в природе;
Дабы знали, сколь есть смрадно
Злостяжанное богатство,
Хотя блещет лучезарно.

Еще в Зничеву коляску
Перстоалая Зимцерла
Коней светлых не впрягала,
И клячонки огнебурны
На конюшне Аполлона
Овес кушали эфирный,
Как прекрасна Мелетриса,
Не смыкая своих вежден,
Ложе скучно, ложе девства,
Ложе томно одиночства,
Свое ложе оставляет,
Прежде, нежель петел громкий
Запинательным напевом
Не воспел нам час полночный.
«О! несчастная всех больше! —
Мелетриса так вещает: —
Почто в свете я родилась?
Почто зреть мне светло солнце,
Если жизнь влачить плачевну
Осужденна я не с милым.
Или щедрая природа
Моему лицу румяну
Дала прелести опасны
Для того, чтоб в горькой доле
Я потоком слез горючих
Их цветы весенни ярки
На рассвете сорывала!»
Так завыв, царевна наша
Распускает длинны космы
По раменам обнаженным.
Она, вставши со постели
В одной тоненькой рубашке,
Ни юбчонки, ни мантильи,
Ни капота, ниже шали
На себя не надевала
И по горницам без свечки,
В темноте густыя ночи,
Всюду ходя, выла волком.
«Нет, не думай, чтоб досталась
Я в объятия Гвидону!
Пусть скорее ненавистна
Горька жизнь моя прервется,

А тебе, мучитель брачный,
Лишь достанется в укору
Мое тело бездыханно!..»
Без ума почти, в потемках
Она ходит, везде ищет
Вожделенного орудья
Безнадежному в злом горе
На скончанье скорой смертью
Жизни, ставшей ненавистной.
Со мгновенья на мгновенье
В ней отчаяние, томно
Сперва, стало уж лютее;
Не нашла себе в отраду
Ни ножа, ниже иголки,
Ни копья булатна крепка,
Ни меча, ни сабли острой,
Ниже шпаги — хотя б бердыш
Или ножик перочинный,
Или вертел ей попался...
Но злой рок был столь завистлив,
Что все вещи смертоносны
От нее как в воду спрятал.
Ей так подлинно казалось.
Но мы в том не обвиняем
Ни судьбы, ни чародейства,
Чтоб царевне в злу насмешку,
Чтоб от горькой Мелетрисы
Они сталь, булат, железо,
Все попрятали в колодезь.
Одно было тут волшебство,
То всегдашнее волшебство,
Что в подлунной совершает
Земли суточно теченье;
То волшебство несказанно,
Где, с подмогой воображенья,
Видим мы весь ад разверстый,
Домового, черта, ведьму,
Или рай, или — что хочешь;
То волшебство, одним словом,
Было тут простерто всюду,
Была — ночь, и было темно,
Глаза выколи хоть оба.

Говорят, сопротивленьем
Всяка страсть в нас коренеет,
Всяка страсть ярится с силой.
Как вихрь бурный дует в пламя,
Иль мехов насосных сотня
В горн (сложенные все вместе)
Верзят воздух, в них стесненный
Клубоомутной струею;
Вдруг зажженный уголь рдеет,
Зной палит в нем черно сердце,
Угль горит, со треском искры,
Как пращем, в окрестность мещет,
Дым клубится, вихрем вьется,
Жар и зной уж все объемлют,
И одно, одно мгновенье
В горне видишь огнь Геенны...
Так царевна, не нашедши
Ни меча, ни остра шила,
Злу отчаянью вдается.
Лбом стучит во всяку стену,
Бросясь на пол, бьет затылком.
Но предательны помосты,
Покровенные коврами
Шелку мягка шамаханска,
Ее гневу лишь смеются.
На них вместо смерти лютой
Она волосы ерошит.
Но опомнясь, воспрянýла,
Как младая легконога
Серна скачет с холму на холм;
Воспрянýла, луч надежды
Протекает ее сердце.
«Нет, сложась стихии вместе,
Не возмогут тряхнуть душу,
На погибель устремленну.
Тот умрет, кто жить не хочет».
Так воскликнула царевна;
Она бросилась поспешно
К тому месту, где спит мама,
Ее мама дорогая;
Карга — имя ей в истории;
Над постелей Карги мамы
Был вколочен гвоздь претолстый,

Большой гвоздь и деревянный;
Он длиной в аршин иль больше,
На который Карга мама
По ночам треух соболий
Свой обыкла всегда вешать.
На гвозде сем умышляет
Скончать жизнь свою царевна...» —

«Как! — вскричала тут старуха,
Прервав речь Бовы поспешно, —
Скончать жизнь таким же средством,
Каким девы Вавилонски
Жизнь давать учились древле!!
Или в честь священна Фала
У вас жертва не курится?
Или образ его дивный
Вы не носите на выях?
О, народ, народ продерзкий!
Презреть Фала, Фала сильна,
Что жизнь красну дает в мире!
Кем живет все, веселится,
Без чего бы и вселенна,
Забыв стройное теченье,
Стала б дном вверх, кувырнулась.
Зане Фал есть ось та дивна,
На которой мир вертится.
Фал — утеха Афродиты,
Фал — то яблоко златое,
За которо три богини
Пощипались на Олимпе,
Вцепясь бодро в божьи кудри».

Бова слушал в изумленье
Свою дряхлую подругу.
Видит, жаром необычным
Засверкали ее очи,
Вздохи вздохами теснятся,
Воздымают грудь иссохшу.
Потягота во всех членах,
Жар гортанью ее пышет,
Во рту скрып зубных остатков.
Но вдруг взоры ее меркнут,
Млеют члены и слабеют,

Стары ноги протянула,
Сомкнув вежди, испустила
Тяжкий вздох, и покатилась,
Чуть-чуть с печки не упала.
Бова старую подругу
Подхватил в объятья нежны.
Он уж думал, черна немочь
Ее дряхлу жизнь скончала
И последния отрады
Навсегда его лишила;
Но с веселием он видит,
Что в старухе сердце бьется,
Что в ней кровь не охладела.
Очи томны отверзает,
И, вздохнув она легонько:
«Ах! любезный мой, — вещает, —
(Зри, сколь Фала почитаю)
Зри его священный образ,
Что скудельничей рукою
Изваян из глины хитро;
Се утеха моей жизни,
Се надежда мне по смерти.
Голод, жажду утоляет,
Нектар он и амвросия!..»
Бова видит; ужаснулся,
Образ Фала у старухи;
Он дивится... Кто не знает,
Не читал кто во истории
Древней повести народов,
Тому слог наш непонятен.
А Бова, хотя и видит,
Но что видит, он не знает.
Так во глазе сетка чувствий,
Ослабев иль уязвленна,
Жизнь, чувствительность теряет.
И то чудно, веселенно,
То божественное чувство,
Чувство зрения изящно,
Чем все вещи для нас в свете
Оживляются шарами
Преломленных лучей солнца,
Вдруг померкнет, тмится, гаснет,
И предметы ярка света

Погружаются в тьму мрака.
День прошел и сочетался
С ночью, или ночь настала,
Во очах ночь непрестанна.
Словом, слеп кто, тот не видит.
Так, истории не знавши.
Не узнал Бова наш Фала,
И был слеп в своих познаньях.
А старуха, то приметя:
«Продолжай, — она вещает, —
Свою повесть ты плачевну».
Бова, вынув платок белый,
Отирает чело старо
Своей нежныя подруги,
У которой пот горохом
В исступленьи показался.
Пот проймет и не старуху,
Когда корча нервы тянет,
Когда мышцы все трепещут,
Грудь вздымается от вздохов,
И упруго сердце бьется,
Так, как древняя Пифия
На треножнике священном
Дрожит, рдеет, стонет, воет...
Ах! всегда в сие мгновенье,
Когда жизнь в избытке льется,
Бог нас некий оживляет!

конец первой песни

ПЕСНИ, ПЕТЫЕ НА СОСТЯЗАНИЯХ В ЧЕСТЬ ДРЕВНИМ СЛАВЯНСКИМ БОЖЕСТВАМ

Тогда пущает 10 соколов на стадо лебедей,
которой дотечаше, та преди песнь пояше...
Песнь на поход Игоря на Половцов. Стр. 3.

ПЕСНИ ДРЕВНИЕ

Певец лет древних славных, певец времени Владимира, коего в громе парящая слава быстро пронеслась до Геллеспонта, Боян, певец сладчайший, коего глас, соловьиному подобный, столь нежно щекотал слухи твоих

современников; возложи, Боян, благозвонкие твои персты на одушевленные, на живые твои струны; ниспошли ко мне песнь твою из горних чертогов света, где ты в беседе Омира и Оссиана торжество поешь ироев древних или славу богов; ниспошли, и да звук ее раздается во всех краях, населяемых потомками колен славянских.

Велик был день у славянского народа, день, посвященный первейшим их божествам, сильному Перуну, благодетельным Святовиду и Велесу, буйным Стрию и Позвизду, Нию и Чернобогу грозным, благой Ладе, Лелю и Полелю и всещедрому Даждьбогу. От всех колен славянских, от Ильменя и Новаграда, с холмистых берегов Клязьмы, от Галича и Дуная, с Помория и Моравы, с вершин Альпийских и с моря Адриатического сбиралися для общего торжества к великому Киеву старейшины, князи, бояре и гости, и тьмы народа бесчисленного. Вели они с собою сладкогласных песнопевцев, да в оный день великий прославят в песнях своих богов и витязей, и слава языка славянского да промчится во все концы известного тогда мира.

Утром рано в день торжества, едва первая стрела лучезарная излетела от молниенного убруса жаркого Знича, как сильные гласы труб, цевниц, бубнов и тимпанов возбуждали всех стекшихся на злачные долины, пестроцветною муравою покрытые, где Днепр, пробив пороги с шумом и пеною, тихою в Лиман течет струею. Князи, песнопевцы, витязи и все начальники вступают во златые стремена, шествуют стройно на конях своих бодрых; идут стязи пред ними, хоругви возвеваются по воздуху; священники в одеждах белых льняных, багряными поясами одержимых, ведут жертвы, украшенные цветами юных дней нежнодышущего маия. За ними вслед резвою толпою идут лики юношей и дев, сонм жен в соборе радостном и народ созади, в одеждах мирных, шествуют медленно.

И се лиется уже кровь тельцов, юниц и агнцов. Лики общую возгласили песнь. Ветр препнул свое дыхание, дым курения ароматного и всесожжения восходил серым столбом за облаки. Десять избранных песнопевцов от различных племян славенских стали строем на берегу древнего Ворисфена; каждый из них несет на правой

руке своей сокола быстроокого, в левой держит звонкие гусли. Издалеча возникли шумные гласы труб, цевниц и тимпанов, возбудили вздремавших по утренней пище лебедей на струях Днепровских. Зане обычай был таков, что сокол, поражающий лебедя, назначал чреду в песнопении, и чей был первый, тот первую воспевал песнь, и все другие по чреде своих соколов.

Возлетают лебеди, высоко вьются под легкими утренними облаками. И се, яко стрелы от звенящия тетивы, твердым луком напряженныя, летят стремительно десять соколов, пущенных с рук десяти песнопевцов, пришедших на состязание издалека; состязание, достойное игр Олимпийских в счастливые времена Еллады. — Летят соколы; и чей первый настиг лебедя? Се твой сокол, о Всеглас, житель юный берегов Ильменя, он ударил лебедя в белую грудь; возлетают пух и перья по воздуху; кровь капала дождем из-за облака; священники тщатся восприять ее в чаши златые; зане таинственно вещают. Лебедь упал мертвым к стопам коней княжих, а сокол победитель летит на десницу Всегласа. Глас труб и цевниц возвестил чреду первую.

Сокол второй. Он твой, о Крутосвист, житель ближайших гор Тмутараканя; поразил лебедя полумертвым, и сам, возвившися под облако высоко, упал вниз стремглав и воссел на десницу вождя своего торжествующ.

Сокол третий слетел с руки Хохта от устья Дуная; ударил лебедя, но тщетно, и в третий раз мог только его повергнуть на землю бездыханна.

Сокол четвертый рожден на вершинах гор, близких моря Адриатического, Черными горами именуемых. Принес его Звен, потомок славных сопутников Пирра, мечтавшего завоевать вселенную.

Пятый сокол — Тиховоя, коего предки, оставив Кипр, преселилися сперва в Гесперию, потом прешли жительствовать на Поморие и принесли с собою обряды служения благотворныя Лады. Он, лебедя тихо поражая, но часто, пригнал его утомленна и жива к стопам своего господина.

Пять последние соколов, хотя не столь знаменитые победители, но не отпустили своея добычи, и утомленны пали с нею на землю.

И се воссели десять песнопевцов по чреде побед своих соколов на уготованных для них зеленых одрах; за ними

стали лики юнош и дев разделенно. Священники воскурили фимиам. — —

Настроя звонкие свои гусли, тако воспел

ВСЕГЛАС

Перун, о бог всесильный.
Зиждитель мира, царь
Всего того, что видим!
Не слово ли твое всесильно,
Что слышно нам во звуках грома,
Что гор сердца кремнисты,
Творению событных, современных,
Упругой зыбию колеблет,
Не слово ли твое
Воззвало в бытие
Все то, что око наше зрит,
Или все то, что мыслию постигнуть можем?
Се ты, о боже сил!
Се шествуешь, хламидой звездною одеян,
Носимой духом бурь и ветров.
Восток, Юг, Север и Стрий буйный сам
Твои суть слуги,
Земля подножие твое,
А дальный эфир, дальный,
Превыспренний твой одр.

Венчан стихийным светом,
Рождающей одеян теплотою,
И творчей силой препоясан,
Воссел, о ты непостижимый!
В пространстве, в пустоте,
Среди смешения, среди хаоса,
Средь нощи древния и всюду мрак.
Воссел, да зиждешь и творишь,
И образы да дар твой будут.

Се там, престолу твоему,
Где молния не знала крыл своих,
Крыл огненных, в полете быстрых,
Где гром еще молчал, немея,
Где свет, где сушь, где влага,
Вскормленны вечности сосцами,
Росты бездейственны хранили,

И где движенье, жизнь в тебе едином,
О бог! лелеясь, были;
Се там предстали и явились
Престолу твоему
Твои все слуги, твои силы:
Знич светлый, жаркий, жизнодатель,
Велес, отец сей будущих животных,
И Пóзвизд и Купало,
Скрывавшие в своих огромных недрах
Всемирный океан,
И реки, и озера;
И Ний, отец земли, и крушц, и камней,
И мать рожденья Лада,
Всесочетающей любови бог.
Воссел, и тихое
Благоговейное молчанье
(Торжественный предтеча
Зиждительного слова)
Повсюду было,
Ко бытию готовя вся...
Се творчее изыде слово...
Уже начало восприяли
Движенье, жизнь и бытие...
И ты, неведомый,
Немыслимый никем,
О бог, отец, зиждитель,
Стал чувствуем, стал осязаем.
И чудо юное твое,
Руки твоей творенье,
Подъяло край завесы древней,
Завесы вечности — и ты стал бог:
Зане, что ты, когда тебя
Никто не мог постигнуть,
Иль чувствовать иль видеть?
Се Знич и Лада с сыном
Велениям твоим послушны,
Живят и греют, сочетают...
Все движется, приявши жизнь.

Чудесности исполнилась вселенна!
Но всё творенья суть
Лишь слова твоего; — — —
Нет, мысли лишь одной,

Твоей лишь мысли необъятной. —
Зри там в пространстве неба и эфира,
Тела вращаются велики, светлы,
В согласьи стройном, дивном,
В гармонии чудесной.
Что там? Или кто там живет?
То ты один лишь знаешь
Или твои лишь слуги сильны.
Здесь, виждь, велел ты Нию сушу вздвигнуть,
На ней горам взнести
Свои верхи крутые, льдяны,
Иль пропастям, разинув хляби,
Вмещать в широки недра земны
Или блестящие крушцы,
Или сверкающи кристаллы.
Уж Позвизд махом своего трезубца
Возбрызнул океан на сушу,
И влага, напоив всю землю
Потопа общего разлитьем,
Раздвинуто лице свое превыше гор
В моря, в озера, в реки собрала.
Познал свои пределы понт,
И реки буйно восшумели
Чрез каменны скалы,
Через бугры кремнисты,
Крутясь, стремясь иль извиваясь
Меж нив, полей, лугов;
Текут они прозрачны, тихи
Во чрево обще вод,
В понт синий, в понт глубокий.

Уж Знич со Ладою в союзе
Взлегли на одр супружний, одр туманный,
И тепла мгла в парах прозрачных
Взлетела и взвилась высоко.
Се, зри, туманы серы там,
Собравшися, сгустившись выше,
Вступили облака горами,
И Стрий налег на их рамена;
Юг, Север вниз и вверх бунтуют,
Оставши, буйны чада
Истлевшего хаоса,
И перва буря роет волны.

Летит дождь теплый вниз на нивы,
Где вслед всезиждущим твоим веленьям
Велес на свет извел вола
И всех зверей дубравных,
Где Даждь благой и щедрый
Родил древа и злаки.

Но ты, отец, с улыбкою рожденья
Возвел свои зеницы светлы
На юный мир, на юну землю;
Ты, видя счастие, блаженство,
Повсюду в блеске расширенно.
Добро ты видя всюду,
Еще помыслил ты.
Се паки сильно твое слово,
Беременно еще твореньем,
Явилось в мир,
Явилось облеченно в персти.
Се образ твой, о сильный!
Се образ дивный, возниченный;
Се дух твой, или слово,
Живущее в жене и в муже...
О человек, творение чудесно!
Творенье бренное, о царь земли!
Ты слаб, ты червь, ты мал,
Пылинка ты в сравнении всего;
Но силен, но велик умом.
Ты мыслию божествен,
Зиждитель и творец!

Велик, велик ты, о Перун!
Когда разверзишь длань свою широку,
Из коей льются изобильно
Благодеяния щедроты,
И мир, и тишина, и счастье;
Когда ущедрит нас
Посланник благ твоих великих,
Посланник твой Даждьбог.
Велик ты также и ужасен,
В ночи несясь туч синих, черных,
Когда преступны человеки,
Твой образ исказив пороком гнусным,
Сзывают гром твой с небеси!

Твой гром губительный, карающ,
И стрелы молнии твоей крылатой.
Тогда твоя десница сильна, рдяна,
Вращая огнь, удар вознесши вверх,
Превыше всех верхов холмистого Олимпа,
Низвержет молнию и гром,
И звук и треск, и смерть и ужас...
Бегут животные, трепещут
Пред взором твоего лица паляща
И кроются в вертепах темных;
Сердца сотрясши всех строптивых,
Не смерть ты шлепь, но знак благоволенья;
Ты паки стрелу сизу молньи светлой
Верг махом в дол,
И гром твой глухоутлозвонный
Ударил с треском в верх сосны ветвистой
И раздробил ее в обломки малы.

Но ты тут не ужасен, о Перун!
Тебе сосна была та посвященна;
Под ней покоился любимец твой Седглав,
Седглав, твой жрец верховный, прорицатель,
Принесший жертвы, о Перун! тебе обильны,
И сто тельцов и сто волов, овнов толико ж;
Любезна первенца лобзает,
И юношу сего любезна
И сына сердца и души
Он в дальный путь готовит, устрояет,
И пред лицом твоим
Он отчее ему дал наставленье:

«Ты юн еще, о сын мой милый!
О Велеслав, ты юн;
Но был уже свидетелем злосчастий
И бедствий пагубных войны. — — —

Уже прошло тому и год и больше,
Как многолюдные колена кельтски,
Сложив свои все силы
Во ополчение едино,
От мыса, в дальном море вон торчаща,
Иль от конца земли,
Чрез Северный Улин, и Тул, и Морвен,

И острова Гебридски,
И все брега обширной Скандинавьи
До самых тех брегов
И низких и болотных,
Где тихая Нева
Свои глубоки волны
Из Ладоги влечет
И томною своей струей, почти прямою,
Весь сонм своих валов бесшумных
Исхлынула в Варяжско море; там,
Где мглой всегда Котлин покрытый
Косой иссунулся далеко в море.
Сердца, глубоко уязвленны,
Что племена славянски сильны,
Ступая во следы широки, звучны
Своих усопших предков,
Оставивших свои
Пылающие веси
На берегах бушуйной Адрьи,
Эпир, Иллирик и Панонью
Губителям вселенной в Риме,
Простерли меч победоносный,
За многоводную струю Дуная,
За Днестр, за Буг, за Вислу,
За славный Ворисфен
И даже до берегов камышиста Ильменя,
Откуда Волхов извлекает
Обильное соборище вод желтых
И чрез пороги между скал гранитных
Мчит их в сожитие
Вод Ладоги пространной;
Восстали,
Покрыли
Варяжски
Пучины
Несметной тьмой ладей,
Прошли они
И Рюген
И Даго
И Езель,
Прошли они Котлин
И устье тройственно Невы.
Тут, сняв с судов высоки щеглы,

Подобны лесу темну,
Без листвия опустошенну
И молнией и бурей,
Веслами воды рассекая,
Шли в верх Невы, шли Ладогой,
Вошли во устье Волхова
И плыли до его порогов.
Оставив тут суда,
Пошли во строе ратном,
Простерли ужас и беды,
Смерть, пламя и оковы мыча
По нивам, по холмам.
Восплакали славянски девы,
Рабыни став врага;
Взрыдали жены, дети,
Лишась супругов и отцов.

Уж кельтско ополченье
До того достигло места,
Где твой славный дед, отец мой,
Где великий Ратомир
Новагорода начатки
Близ Ильменя положил.
Уж дымятся пламенея
Верхи новы и высоки,
Кровь ручьями льется всюду.
Мала стража городская
Скоро смерть мечем вкусила,
И сто юных, храбрых воинов,
Врата града защищавших,
Копием сражаясь пали,
Жертва силы превосходной,
Предпочтив поносну плену
Смерть. Вломившись в наши стены,
Простер враг насильство всюду.
Ты тому свидетель сам был,
О мой юный друг, друг милый!
Как их меч, носясь по стогнам,
Не щадил славенской крови,
Как младенцы, жены, старцы
Погибали беззащитны.
Вихрем буйным рыщут всюду,
Огнь, и гибель, и крушенье

Везде сеют, простирают,
И смерть бледна воспарила
Над главами всех, готова
К извержению кончины
Общей всем, что живо было.
Ах! почто, почто, несчастный,
Не погиб, плачевна жертва
Я их лютости и зверства.

В среде зеленой кущи,
Рукой моею насажденной,
Сидела мать твоя, и та,
Которую рука моя вскормила,
Душа моя дала которой душу,
И сердце мое сердце;
Которую Перун, и я, и мать твоя,
И сам ты, друг мой юный, нарицал
Возлюбленной уже подругой,
Твоей подругою навек.
Тогда под сень смиренну нашу
Бегут, как алчны львы, рыкая,
С мечем, с огнем в руках
Враги победоносны.
«Кто ты? — Кто ты?» —
Вещает им Ингвар суровый.
Он вождь полков был кельтских;
Высок, дебел и смугл, а очи малы
Как угль сверкали раскаленный
Из-под бровей навислых и широких:
Власы его кудрявы, желты, густы,
Покрытые огромнейшим шеломом,
Всклокоченно лежали длинны
Врознь по его атлантовым раменам.
Рука его была как ветвь претолста
И суковата ветвь огромна дуба;
Увесиста, широка длань.
Был глас его подобен
Рычанию вола свирепа,
Когда, смертельно уязвленный,
Несется он по дебрям, по долинам;
«Кто вы?» — вещает паки к изумленным
Он диким и суровым гласом.
«Первосвященника Перунова супруга

У ног твоих». — «Восстань, иди со мной». —
А мы?.. А я с тобой, — вещал
Седглав, тут проливая
Обильные потоки слез, —
Отсутственны мы были и ходили
В соседственный Холмград.
Там мы с тобою
На сделанном брегу высоком,
Где столп Перунов возвышался,
Курили фимиам.

И се вопль наш слух пронзает;
Мы по стогнам зрим Холмграда,
Бегут, мычутся в боязни
Жены, девы и младенцы,
Кои, жизнь спасая бегством,
Утекли из Новаграда.
«Мы погибли, — восклицают; —
Погиб Новый град и в пепел
Превращен, не существует».
Уж воинственные трубы
Вострубили, уж стекались
Все полки славянски; строем
Все идут ко Новуграду.
Сердце наше предвещало
Бедство нам и скорбь и слезы;
Мы полки все предваряя,
На коней воссели легких,
Скачем быстро и несемся.
Но, о зрелище ужасно!
Рабынь наших мы сретаем, —
И несут уж хладно тело
Твоей матери Препеты; —
«Поспешай, — тебе вещала
Мать твоя чуть слышным гласом, —
Поспешай, коли возможно.
Чаромила унесенна
Вождем кельтским в ладию...»
Хлад и смерть вдруг распростерлись,
Очи меркнут — — прервалося
Ее томное дыханье,
И — душа вон излетела...»

Старец умолк — и, очи поникши, стоял неподвижен,
Будто на казнь осужденный. Протекшие скорби предстали
Живы уму его, силою воображенья. Хладеет
Кровь в его жилах; колена трепещут; дыханье стесненно
Грудь воздымало его. — Восседает. — Юноша к старцу
Очи исполненны слез обративши, тако вещает:

«Мы шли с воинством поспешно...
Я, с друзьями тут моими
Отделясь от всех далеко,
Вниз по Волхову неслися.
Но, увы! уж поздно было.
Погрузив корысти многи,
Сребро, злато и каменья,
Рухлядь мягкую богату,
Хладна Севера избытки,
Жен и дев восхитив многих,
Враги наши плыли скоро,
Плыли вниз, едва лишь видны.
Не вдаваяся напрасну
Мы отчаянью, обратно
Мы помчалися к Новуграду.
Тут, встречаясь с ополченьем
Сих врагов неистозлобных,
Мы карали их измену;
Гнали, били и мертвили,
И во Новгород вступили
По телам сих лютых воев.
Но возможно ли воспомнить
Те минуты равнодушно,
Те минуты преужасны,
Как мы в Новгород вступили?

По стогнам летала
Смерть люта и бледна,
Широко простерши
Чугунные крылья.
Уж воинство кельтско,
Досель разлиянно
В домах и по стогнам
Велика Новграда,
Стекалось в едино,
Внушая веленью
Вождей своих лютых.

Мы, ударив
На них строем,
Опровергли
Их, попрали
И достигли
Скоро, скоро
Того места,
Где на вече
Собирался
Народ мирный.
Тут Ингвар, сей
Вождь суровый
И вождь лютый,
Связав руки
Вервью тяжкой
Ста дев, вел их
В плен, в неволю.
Увидев ужасно
Сие посрамленье,
Как львы возревели
Мы ярости гневом;
И буйны стремились
На воинство кельтско,
Старались отнять весь
Их плен и добычу.

Сталь сверкнула,
Смерть взлетела.
Мы разили
Врагов сильно;
И удары
От них страшны
Мы терпели,
Но вломились
Все мы строем
В полки кельтски.
Наконец их
Опрокинув,
Смерть им в сердце
Наносили
И, стараясь
Дать свободу
Девам пленным,

Тьмы врагов мы
Истребили,
И их души
Вероломны
В крови черной
Источенны,
Отослали
В царство Ния.

Но, ах, пагубна победа!
Враги наши, стервененны
Поражением толиким,
В грудь пронзали всех дев пленных.
А хотя мы извлекали
В грудь вонзенну харолугу,
Но душа, душа томленна
Излетала вслед за сталью
И лилася в крови дымной.

Ингвар, зря тут
Неудачу,
Отступает,
В строй поставя
Все останки
Своих воев;
Отступает
Во порядке,
В строю дивном
К струям желтым.
Он в ладьи тут
Восседает;
Он увез трех
Дев с собою,
Дев прекрасней
Всех во граде;
И, ах, с ними
Чаромилу!» —

«О, друг мой юный! — глас возвыся,
Седглав тут рек: —
Настал уж день и час отмщенья;
Зри, многие полки славянски
Уже стекаются отвсюду;

Услыши радостны их клики:
Се смерть, — гласят, — се пагуба врагам!
Бесчисленны ладьи готовы
Нести сих славных ратоборцев
Поверх валов Варяжска моря.
Народ славянский, помня все заслуги
Отцов твоих, отцов моих
И ведая, сколь мне
Перун всесильный благотворен,
Сколь мил ему первейший его жрец,
Тебя единым гласом все колена
Вождем своим уж наркли.
Гряди, гряди на брань
И смело подвизайся,
Карай, рази врага, им отомщая
Все раны, кои он нанес
Тебе и мне и нашему языку;
Неси ты бурный огнь в селенья кельтски;
Лей кровь... ах! для чего
Бессильные мои рамена
Подъять не могут брони тяжкой,
Я был бы вождь полков славянских,
И мщеньем ярости
Непримиримыя пылая,
Вращал бы меч мой обоюдный
В груди и недрах сопостатов,
Отмщая смерть моей супруги;
Из трупов бы врагов, попранных долу,
Престол воздвигнувши высокий,
Тебе, Перун, тебе я сердце,
Из груди вражьей извлеченно,
Тебе бы в жертву я принес.

О! бог, всесильный бог! —
Вещал Седглав тут в исступленьи, —
Отверзи очи ты души моей,
И книга будущих судеб
Да предо мною разогнется!»
Тут юноша простерся долу
В благоговении сердечном;
Воздел на небо руки жрец.
Вихри сильны вдруг взвилися,
Буйны ветры тут завыли,

С тучей буря налетела
Сиза молния сверкнула,
Гром ударил с треском сильным,
Поразил сосну священну,
И сосны верх возгорелся.
В исступленьи необъятном
Жрец, стрясаем богом сильным,
Громким гласом восклицает:
«О! род ненавистный
Славянску языку!
Се смерть, сто разинув,
Сто челюстей черных,
Прострет свою лютость
В твою грудь и сердце!
Восплачешь, взрыдаешь:
Не будет спасенья
Тебе ниоткуда...
Но... увы! мы только мщенье,
Мщенье сладостное вкусим!..
А враг наш не истребится...
Долго, долго, род строптивый,
Ты противен нам пребудешь...
Но се мгла мне взор объемлет,
Скрылось будущее время...
Зрю еще, — о сын любезный,
Ты по странствиях далеких
Наконец обрящешь живу
Ты любезну Чаромилу, —
Но я того уже не узрю» — — —

И се удар громовый повторился,
Земля трясется; жрец воскликнул:

«Иди, мой сын, иди,
Иди, о друг мой юный.
Се слава в облаке златом
Плетет тебе венец лавровый.
Зри, там чертог божественный отверст,
Он ждет тебя и восприимет,
Когда увянешь, не дожив
Блаженных поздных дней;
Но если смерть в полете своем быстром
Тебя на ратном поле дальном

Щадить не перестанет,
И лютая ее коса
Тебя минует и допустит
Главу твою покрыться
Сребристыми космами,
Тогда блаженны дни твои пребудут
В объятиях супруги милой,
В среде любезного семейства,
Семейства многолюдна.
Спеши; се зрю, полки славянски идут,
Несут булатны свои копья,
Несут, как лес густой. — —
О, радость мщения, играй,
Играй ты в томном моем сердце;
Сие последнее да будет
Мне старцу утешенье,
Вознесшему уж ногу в гроб,
Иди, спеши, о сын любезный!
Победы лавр пожни блестящей;
Тебя еще да узрят мои очи,
Сим лавром увенчанна».

Жрец умолк и лобызает
Своего любезна сына:
Строй идет, и звонки трубы
В путь зовут всех ратоборцев.
Всплamененный отчим словом,
Буйный юноша в восторге
Тяжку броню воздевает,
Шлем взложил на верх свой гордый,
Меч висит у бедр, тяжелый
Щит, копье в его руках: —
«Прости, отче!» — — — — он отходит.

Вои радостны воспели
Песни яру Чернобогу.
Жрец возвысил глас свой громкий,
Рек пророческое слово:
«О Перун, о бог всесильный!
Буди им поборник в бранях,
Буди в бедствиях защита;
О народ, народ преславный!
Твои поздные потомки

Превзойдут тебя во славе
Своим мужеством изящным,
Мужеством богоподобным,
Удивленье всей вселенной;
Все преграды, все оплоты
Сокрушат рукою сильной,
Победят — — природу даже, —
И пред их могущим взором,
Пред лицем их озаренным
Славою побед огромных
Ниц падут цари и царства. — — —
О потомки!» — — но гром грянул,
Жрец умолк — — — — он ощущает,
Что шествует в величьи тихом бог.

ПЕСНЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ

Не красна изба углами,
Но красна лишь пирогами.
Пословица.

Громы, гряньте, потрясися
Ось земная в основаньи,
Время быстро, ты исчезни:
Книга вечности разверзлась,
Я не в будущем читаю,
Не пророк я, не волшебник,
Не Дельфийская Пифия,
Но я время зрю протекше. —

Се явился предо мною
Муж ума и духа сильна,
Что, народ спасая божий,
Море Чермное претекши,
Во пустыни среди глада,
Среди смерти мог устроить
Народ шаткий, легковерный.
Моисей во имя бога
Чудеса творил; законы
Дал Израильску народу.
И по истине, возмогший
Управлять толпой народной,
Не быв призван на то ею,

Не имея пред собою
Предрассудка порожденья,
Может, может сказать смело,
Что посланник есть всевышня.
Моисей во имя бога
Жезлом правит и законы
Среди молний, среди грома
Он со неба получает.
Умы шаткие восхитив,
Вождь был тверд умом и сердцем
(Магомет коварством многим
Быть хотел законодавцем,
Умы пламенны восхитив
Рая лестною картиной,
Он смерть сладкою соделал
Во объятьях дев небесных;
Ученик его столь храбрый
Воин был непобедимый.
Он пошел струею быстрой
На победы, пред собою
Он народам удивленным
Возвестил: се избирайте
Алкоран иль смертоносный
Меч, и света половина
Пала пред его законом).
Се идет Семирамида,
Она кудри свои черны
Прикрывает златым шлемом;
Своим мужеством на брани,
Своим разумом в советах,
Твердостью во время смутно
Всех сердца, умы пленивши,
Она память истребила,
Что убийственной рукою
Она скиптр правленья держит.
Зри Навуходоносора,
Несяй бурно пламя браней
В стены нового Салема,
Сокрушил их, в прах развеял,
Разорил храм Иеговы,
И повлек он иудеев
В плен, неволю, в преселенье.
Седяй гордо на престоле

Златом хитро изваянном,
Он зрит образ свой во храмах
Ко богам причтен; курятся
Ароматы драгоценны
В честь ему и днем и ночью.
Но се мгла густая зверства
На верх гордый налетает;
Царь царей теряет разум;
Он стал скот; в лесах дремучих,
В блатах, дебрях ищет пищи...
Так надменности на троне
Писал суд предвечный в небе.

Троя, Тир, Сидон, Карфага,
Древни хины и индейцы
И неведомы народы
Шествуют, покрыты мглою
Неизвестности; но блещет
Во среде столетий мрака
Слава мудрых, яко в туче
Молния в сверканьи светлом.
Зри, воспетые Омиром,
Ахиллес, Парид иль Гектор...
Зри, во пурпурных хламидах
Жители Сидона, Тира,
Алчбой злата устремленны,
На крылах несутся ветра
Во страны дальнейши мира.
Зри, потомки их в Карфаге
Накопляют преизбытки
Остроумною торговлей.
Ганнибал, о вождь предивный — — —
Но зуб времени железный
Сокрушил их град и славу —
Се потомки мудрых Брамов,
Узники злодеев наглых,
По чреде хранят священной
Свой закон в Езурведаме
Буквой древнего самскрита —
Древней славы их останка
И свидетеля их срама!! — — —
О Конфуций, о муж дивный,
Твое слово лучезарно

В среде страшной бури, бранеи.
На развалинах отчизны
Восседало всегда в блеске,
И чрез целые столетьи
Во парении высоком
Возносилось и летало...
Се идет твой современник
Зороастр; он во Персиде
Учреждает поклоненье
Духа жизни во вселенной,
И на жертвеннике светлом
Огнь возжег, что пламенеет
Еще ныне в жертву богу.
Тако сила духа мудра,
Сохраняясь во потомстве,
Пребывает лучезарна
И живет, живет на вечность.

Се Кир старший, учредитель
Царства древния Персиды.
Но чему о нем мне верить:
Или повести правдивой,
Иль Рамзею в слоге красном?
Царь царей и царь великий,
Погибающий рукою
Томириды; отсеченна
Глава Кира восплывает
В крови; слышу глас вещает:
Пей, тиран, до сыта крови,
Коей в жизни столь был жаждущ!

Се Еллада в блеске солнца;
Там ирои в лучезарных
Подвигах, будто светила,
На крылах стремятся ветров
Похитить руно златое.
Зри, Язон в стране волшебной
Превозмог в Колхиде страхи
Чарований и отравы,
И с руном он у Медеи
Сердце нежное похитил.
Зри, Алкид как сокрушает
Выи дерзких и строптивых;

Разве богу то возможно,
Что он силою десницы
Мог исполнить в жизни краткой.
Странственных он избавитель,
Предал смерти Бузирида,
Он дал в снедь коням, обыкшим
Поядать дымящи мяса
Потребленных чужестранцев,
Во Фракии Диомида,
Вепря злого в Ериманте
Обуздать мог вервью лютость;
Стрелой легкою пернатой
Он чудовищ тех пернатых,
Что в Стимфалии гнездились,
Сокрушил и предал смерти.
Не возмог никто противен
Быть ему на брани сильной.
В Лерне гидру он стоглаву
Поразил; в лесу Немейском
Льва ужасного исторгнул
Жизнь с дыханием мгновенно,
И во знак своей победы
Его кожу он космату
Возложил на тверды плечи.
Медяногу, златорогу,
Легкую в бегу он серну
Мог настичь; и даже бога
В струях живша Архелоя
Он, во образе свирепа
Тельца сильна, он, поправши,
Рог исторг во знак победы.
Победитель он чудовищ,
Победитель он гигантов;
Сильна в мышцах он Анфия
Удушил в объятьях крепких.
Перед ним Кентавры дерзки
Как лист легкий возметались.
И те храбры жены древле,
Ненавистницы супругов,
Амазонки побежденны
И примером Ипполиты,
Своей красныя царицы,

Что Алкид Фисею отдал,
Научились жить с мужьями.
Он предерзка Промифея,
Что с небес похитил пламя,
От злой казни избавляя,
Убил врана, что терзает
На Кавказе его перси;
И, пришед к пределам мира,
Океан где облегает
Шар земной, он столп высокий
Силой крепкия десницы
Подавил и вдруг раздвинул.
Две горы тут вознеслися,
Калпе, Абила, подножьем
Двух столпов, где начертанно
Сие дело баснословно;
Се предел, и море с шумом
Покатилося волнами
Во среду земель и весей. — —
Он, наполнив весь мир славой,
Низшел в царствие Плутона
И привратника тризевна
Обуздал он пса Кервера.
Но, платя он долг природе,
Полубог, ирой, был слабый
Во объятиях Омфалы
Смертной; палицу иройску
Гнусной пряслицей соделал.
Но и в слабостях божествен,
Сын царя миров предвечна,
Десять он супруг имевши,
Был отец потомства славна,
Многочисленна; исполнил
Наконец чудесный подвиг,
Быв единою он ночью
Дев пятидесяти юных
Супруг нежный и в срок точно
Пятьдесят сынов родивши.
Подвигов двенадцать дивных
Совершил, себя прославив;
Быв ироем в жизни краткой,
Полубог он стал по смерти.

Но, склонясь от баснословных
Подвигов иройских в Грецьи,
Зри, живот как презирает
Кодр в спасение Афинам.
Он не злато, не гремушку
Мздой поставил дел иройских,
Но мечту, мечту любезну,
Образ отчества драгого;
В нем жить рай, но с ним разлука
Есть геенна, ад ужасный.
Кодр, сей мыслию исполнен
И предвестию поверя,
Что потеря драгоценной
Вещи для Афин спасенье,
Счел, что драгоценней в мире
Вещи нет, как царь правдивый,
И, себя таким считая,
Смерть вкусил к спасенью царства.
Афиня́не в знак почтенья
К подвигу толику славну
И считая невозможным
Заменить его на троне,
Имя царско истребили.
Признавая невозможность
Без законов быть правленью,
Афиняне восхотели,
Да Дракон, муж твердый, строгий,
Начертал бы им законы.
Но он каждо преступленье,
Маловажно иль велико,
Омывал афинян кровью.
Мало время поступали
По словам его кровавым;
И Солон законы новы
Предписал тогда Афинам.
Страсти бурны обуздавши,
Он законы дал бессильны
Аттике замысловатой.

Зря законов власть попранну
Властолюбным Пизистратом,
Презрил град он и тирана,
Град оставил, удалился.

Но чему дивиться должно,
Иль законам его слабым,
Иль тому, что он направил
Народ шаткий, остроумный,
На стезю побед и славы,
На рожденье мужей дивных?

Се исходит предо мною
И очам моим явился
Муж божественный, муж дивный,
Что, умом своим объявши
Всю народного связь тела,
Умел души всех устроить
К пользе общей и единой,
Подчиняя ум и сердце
Всех отечеству любезну.
О Ликург, твоим законом
Ты нагнувши выи горды,
Воспитанием спартанцов
Им отечество соделал
Всего выше и милее.

Времена настали страшны
Для свободы всей Еллады.
Как стада несметны вранов,
Так полки персидски строем
На Елладу налетели;
Но афиняне, спартане
Против их несчетных воев
Ставили мужей лишь славных.
Милтиад, спаситель Грецьи,
Победитель Марафонский,
Жизнь скончал в темнице срамной.
Леонид, царь Спарты смелый,
Иссосав любовь к отчизне
С млеком матери любезной,
Жизнь ему принес на жертву,
И с ним триста юнош храбрых
Дни скончали в Фермопилах.
Аристид се правосудный,
Что себе начертавает
Суд изгнанья остракизмом;
Но он зависти знал жало,

Быв соперник Фемистокла.
Победитель славный персов,
В Саламине зрит всех греков,
Стекшихся к игра́м в Олимпе,
Перед ним вдруг восстающих.
О, награда паче злата,
Паче всех венцов лавровых!
Но достоин был неложно
Сея чести тот, кто Грецью
Спас победой в Саламине:
Для спасения отчизны
Презрел он вождя надменна,
И вознесшему жезл буйно
Да ударит, отвечает:
«*Поражай, но токмо слушай*».
Се Перикл, кой умел хитро
Взять кормило во Афинах,
И народом, возлюбившим
Своевольность до безумья,
Он по воле своей правил.
Друг Фидия, изваявша
Образ дивной Афинеи,
Друг Аспазии любезной,
Что Сократ (иль добродетель
Воплощенна) в честь вменяет
За учителя имети
Себе славну Аспазию;
Он друг был Анаксагора,
Кой, сотрясши предрассудок,
Тяжко бремя мглы священной
И светильником рассудка
Сонмы всех богов развеяв,
Первый стал среди вселенной,
Он дерзнул ее началу
Дать вину несуеверну.

Алкивиад, муж любезный,
Богат, статен, умен, знатен,
Дарований он великих
И пороков преисполнен.
Добродетелен, но редко,
Разве следуя советам
Друга своего любезна

И учителя Сократа;
В страстях пылок, рдян и буйствен;
Облекаясь он однакож
В виды, нравы, обычаи,
Кои нужны на то время,
Чтоб достичь желанной цели;
Он злой дух и бич Еллады
Был, и пал сраженный жертвой
Любочестья и разврата. —

Но пройдем мы быстрым оком
Ту страну, страну предивну,
Где Ликурговы законы
Царствуют сильней природы.
Там жена не знала страсти
Ко супругу нежну, разве
Он достоин был награды
За свою любовь ко Спарте.
Там мать в радости ликует,
Когда сын ее, сражаясь,
Жертвой пал при Фермопилах.
Ты познал то, о Павсаний,
Что любовь ко Спарте выше
В сердце родшей тебя в Спарте,
Нежели к тебе. Развратность
Твоих нравов она прежде
Всех других в тебе накажет.
Ты есть враг Лакедемона;
И се, зри, несет уж камень,
Чем во храм вход заградится,
Где предательна свершится
Твоя жизнь во мщенье Спарты.
Агесилай, воин мудрый,
Ты достоин еще древней
Славы отчества, погасшей
В роскоши, в развратных нравах.
О, сколь мил ты простотою,
Когда, чад своих забава,
Ты, конем жезл сотворивши,
Рыскал с ними на их пользу.

О, Лизандер, о муж славный!
Воин мудрый, ты б достоин

Был отечества любезна,
Если б ты родился прежде.
Ты в делах твоих ироических
Не коварством бы вождаем,
Не предатель был бы хитрый,
Почитавший меч свой средством
Быть всегда со всеми правым.

Но разврат, пустя свой корень
Сердца в глубь лакедемонян,
Испроверг святы уставы,
Что Ликург поставить тщился
На подножии незыбком
Простоты и бескорыстья
Воспитанием суровым,
И когда рукою смелой
Юный Агий, взревновавший,
Восхотел к началу древню
Обратить спартански нравы,
То плачевною пал жертвой
Сребролюбия, разврата.

Дух величья, разливаясь
Возблистал вдруг между Фи́вян;
В концы дальние Еллады,
Хоть Пиндар своей трубою
Во отечественном граде
Колебал тупые слухи.
Но, взгнездившися во Фивах,
Грубость их во всей Елладе
Отличалась пред другими.
И се два велики мужа,
Лаврами главы венчая,
Возмогли на высшу степень
Возвести свою отчизну.
Пелопид, мудрец и воин,
Муж великий, избавитель
Фив от ига, наложенна
Гордой Спартою во счастье.
Но его блестяща слава
Уступала его другу
Епами́нонду, что первым

Цицерон назвал из греков,
Он про коего вещает:
Знал всех больше, а глаголал
Меньше всех. Он, высший в Фивах,
Нищ был, злато презирая.
Горду Спарту низлагая,
Победитель пал сраженный,
И, чад вместо, он оставил
Только Левктры, Мантинею.
Се Филипп сплетает узы
Или сети хитротканны,
Где он вольность всей Еллады
Уловил и сделал прахом.
Учредитель стройна войска,
Устроением фаланги
Он кровавы приготовил
Узы тяжки полусвету.
О Филипп, тебе возможно
Во ярем нагнуть все выи;
Но кто может Демосфена
Наклонить велику душу?
Тебе тело и труп срамный
Демосфенов в корысть будет,
Но не дух его свободный.

Александр, употребляя
Себе в пользу то, что сделал
Филипп хитрый, Филипп мудрый,
Вихрь порывистый понесся,
В бурном духе урагана,
Сокрушая все преграды,
От смиренной Пеллы, даже
До брегов счастливых Ганга.
Друга своего убийца,
Пал сражен болезнью в пьянстве.
Необъятные корысти
По его достались смерти
Вождям войск его надменным;
И солдаты Александра
Цари стали его смертью.

Хоть по смерти Александра
Воссиял дух древний паки,

И союз ахеян видел
Возраждающуся вольность;
Но то искра была слаба.
Ни Арат не мог восставить
Падшую Еллады вольность,
Ни ты, смертный, столь достойный
Нарещись последним греком,
Филопемен пал, и вольность,
В древней Греции сиявша,
Ввек потухла невозвратно.

Се сонм светлый мужей славных,
Се сенат, се народ римский,
Полк царей и их превыше,
Се властители народов.
Изыдите и предстаньте
Моим взорам обаянным!
Вы краса и удивленье
Человеческого рода,
Вы изящну добродетель
Вознесли на верх возможный;
Но вдруг впали в гнусность, мерзость
И затмили злобой, зверством
Все народы нам известны.

Ромул Риму símbolo основанье
Дал, устроя свое царство.
Нума нимфу Егерию
Призывал давать законы
И единый против войска
Стал врагов своих строптивых.
До Тарквиния старались
Все цари пределы Рима
Расширять елико можно.
Но Тарквиний скиптр железный
Простер к буйному народу;
Смерть Лукреции воздвигла
На него беды ужасны;
Он был изгнан, и навеки.

Се Брут первый, обагренный
Кровью сына и тиранов,

Положил угольный камень
Зданью римския свободы.
Се Коклес, с мечем единый
Спасший Рим и его славу;
Жертва Деций общей пользы,
Ищет смерти он ужасной.
Суеверною любовью
Ко отечеству пылая,
Курций в хлябь земну разверсту
Летит, жизни не жалея,
Для спасения народа.
Зри, се Сцевола, на жертву
Принося свою десницу,
В безопасность юна Рима,
Не содрогшись возлагает
На горящи ее угли.
Боль несносна не тревожит
Души твердой и незыбкой.

О Менений бескорыстный!
Пред тобой богатство, злато,
Как лист в осень, увядают,
Постыжённы твоим взором.
Нищ ты был, седяй в сенате,
И по смерти не оставил,
Чем бы заступ мог наемный
Ископать тебе могилу.
Но граждане веледушны,
Чувствием сердец водимы,
Несут в место свое злато,
В честь твою взник столп надгробный!

Брозду тяжку прорывая
Силою волов яремных,
Цинцинат от шумна света
В селе малом обитает.
Но блестяща добродетель
Утаиться не возможет;
Возведен на высшу степень
Он в дни смутные средь Рима,
Своей твердостью и лаской
Рушшийся порядок строит;
Уже взводится в четверты

На первейшее он место;
Врагов Рима победивши,
Он нисходит в чин простого
Гражданина; и приемлет
Паки он свое орудье,
Чем взорется его нива.
Столь же ты велик, муж дивный,
Идя вслед сохе на ниве
И бичем скота яремна
Понуждая ко работе,
Велик столь же, как пред войском
В прах попрал ты врагов Рима.

О Камилий, о муж славный,
Столь же дивен и единствен
Ты во счастьи благоспешном,
Как в превратностях и в бедстве.
Изгнанный коварством хитрым
(Ах! бывало ль, или будет,
Чтоб изящна добродетель
Не рождала зависть бледну
И была б не ненавистна
Злобну гнусному пороку),
Ты, к отечеству любовью
Рдея, строишь во изгнаньи
Помощь Риму во злосчастьи.

И се Бренн, вождь храбрый, смелый
Галлов диких и свирепых,
Победитель римских воев,
Всюду ужас простирает,
Он в бестрепетное сердце
Римлян страхи поселяет;
Но Рим в бедствах паче счастья
Был велик и тверд и дивен.
Его стены опустели;
Жены, старцы и младенцы
Лишь одни остались в граде
Зреть победу галлов лютых.
Но Камилл жив, и спасенны.
Лишь отсутствен он от Рима,
Паки бедства возродились,
И, наскучивши в осаде,

Римляне купить хотели
Мир у галлов весом злата.
Но Камилл внезапно входит
В град, поникший от печали;
Зрит поносное он злато
На весах, и коромысло
(Вес не полн) горе́ восходит.
Меч извлек, и в легку чашу
Возложивши: «Се, — вещает, —
Чем нам галлам платить должно,
А не златом сим поносным».
Одно слово, и дух прежний
Возродился в сердце римлян;
Рим свободен, побежденны
Галлы; зри, что может слово;
Но се слово мужа тверда,
Как то древле слово жизни
Во творении явилось,
Было слово се Камилла.

Мужи славны, украшенье
Вы отечества во Риме;
Вы, к нему любовью рдея,
Все на жертву приносили,
Самую забыв природу.
Манлий сына осуждает
Вкусить смерть, да подчиненность
В войске будет сохраненна;
Деций, видя робость в войске,
Дав себя в обет подземным
Богам, ринулся с размаху
Во врагов; погиб, но славно,
Бодрость в души влиял римлян
И доставил им победу.
Се твой сын, тебя достойный,
Уподобясь тебе в славе,
То ж творит и погибает.

Се и вы предстали взорам,
О презрители богатства.
О ты, Курий! что вещавший
Ко самнитам, приносящим
Злато: «Лучше я желаю

Повелитель быть над теми,
Кто имеет много злата,
Нежели иметь сам злато».
Ах! возможно ль его блеском
Льстить того, кого, пришедши
На прошение, посланцы
Целого народа видят
На древянном блюде яствы
Поядающа. — Явился
Муж, презритель сребра, злата,
Добродетельный Фабриций;
Удивленье врагов Рима,
Ты достойный был воссести
И в том граде и в том сонме,
Где Киней дивяся мудрый:
«Рим, — вещает, — есть храм божий,
А сенат — царей собранье».
Пирр со златом посрамленный,
Не возмогши добродетель
Повредить твою, рек тако:
«Нет, удобнее возможно
Совратить с теченья солнце,
Нежели со стези правды,
Добродетели и чести
Совратить тебя, Фабриций».

Кто сей зрится весь покрытый
Ранами, муж строга вида? ..
Регул, зная пытки, муки,
Что его ждут во Карфаге: —
«Вам война, не мир довлеет,
О сенат, о народ Римский» —
И кровавая пал жертва
Он совета сего мудра.

Но возник тебе на гибель
Ганнибал, сей муж предивный,
Коим Рим едва не свержен
Во полете своей славы,
Если б зависть не претила
Во парении ирою.
Фабий медленностью мудрой
Если б бег твой не умерил,

То поверженный во прахе
Во развалинах дымился б
Рим, глава земного круга;
Там бы зрелися потомки
Тех мужей, достойных неба,
В поругании злосрамном;
На том месте, где венчались
Славою их предки дивны,
Не воссели б в славе, в блеске
На престоле всего мира.

Ганнибал, ирой премудрый,
Что тебе противостанет?
Коль природа не возможет
Во походе твоем дивном
Положить тебе преграды,
Воздвигая верхи льдяны
Выше облак, грома, молний;
Коль струя шумящей Роны,
Еридан, или потоки,
Звонкошумно ниц звенящи
С верхних Альп на камни строги,
Заградить твой путь не могут,
То Требия, Тразимена
Суть лишь следствия неложны
Твоих мудрых начертаний.
Но се Фабий, скала тверда,
Где твое стремленье буйно
Заградилось и препято.
Ах! тобою Рим спасенный
Чуть не зрел свою погибель
В Каннах, как Варрон надменный,
Сей клеврет безумный Павла,
Падшего в спасенье Рима
С воинами, что умели
Жизнь скончати за отчизну;
Безрассудный вождь, возмнивший
Состязаться с Ганнибалом.
Уж молва трубою громкой
Возвещает гибель Рима;
Но напасть его спасенье
Устрояет средь развалин;
Он воздвиг свой верх ужасный

Бедства край, всех восторгало
Мужество вновь возродилось;
Рим спасен, и что возможет
Ганнибал един пред Римом?
Его счастье отлетело
Перед юным Сципионом.
Победитель Ганнибала
Видел зависть, видел злобу,
Устремленную на славу
Его подвигов великих;
Обвинен перед народом,
Добродетельный муж, твердый,
Над врагами Рима скажет
Свои славные победы
И, клевет всех в посрамленье:
«Народ римский! (он воскликнет)
В сей, в сей день блаженный, с вами
Победил я Ганнибала;
Отдадим хвалу всевышним».
И се паки торжествующ,
Всем народом провождаем,
В Капитолью он восходит,
Оставляя площадь римску
С клеветой, в стыде шипящей.

Славы, имени преемник
Сципионов, разрушитель
Состязательницы Рима...
Ах! се ль слава, се ль иройство? — —
Разрушать единым мигом,
Что столетия создали!
Вопль и крик и скрежетанье
Умирающих булатом
Победителя во гневе. —
Пламя, всюду разлиянно,
Как река, сломив оплоты — — —
Плод изящности — в обломках —
Разума твореньи — в щепках — — —
И грабеж, насильство, наглость,
Все неистовства, все зверства, — —
Со бесчувственностью стали
Слышать визг и корчи смерти —
Се иройство, слава! — можно ль

Сердцу, чувствовать обыкшу,
И уму, судить умевшу,
Поступить на таковая?
Нет, рассудок претит мыслить,
Что Емилия сын славный,
Лелья друг и друг Полибья,
И любитель муз Еллады,
Мог решить погибель зверску
Пышной, гордыя Карфаги.
Нет, веленье се неисто
Властолюбия сурова,
Ненасытна духа власти,
Духа сильна, Рим воздвигша,
Из устен что излетело
Древня строгого Катона:
Да разрушится Карфага!
Но ты паки разрушитель,
Ты Нуманции несчастной.
Иль припев, или прозванье
Над тобой толико сильны,
Что ты сладость ощущаешь
Разрушителем быть только?
Но, алкая сильной власти
Ты диктатора, стал жертвой
Властолюбья непомерна. —

И се в Риме, удивленном
Своей властью и богатством,
Возникают страсти бурны
И грозят уже паденьем.
Асия, Коринф и греки
Повергают свои выи
Во ярем народа римска.
Но во мзду рабства́ сим мира
Повелителям надменным
С златом, с серебром, с богатством
Изрыгают в Рим все страсти,
Что затмят в нем добродетель
И созиждут ему гибель.
Грахи, Грахи, украшенье
Матери своея мудрой,
Вы напрасно восхотели
Возродить в превратном Риме

Нравы древни и равенство.
Добродетель не защита
Для коварства, буйства, силы.
Пали жертвы вы достойны
Упадающей свободы.
Се возник тот муж суровый
Ненавистник рода знатна,
Ненавистник наук, знаний,
Храбр и мужествен и дерзок,
Вождь великий, воин смелый
И спаситель Рима, Марий;
Горд, суров, алкая власти,
Все пути к ее сниканью
Были благи; но изгнанный
И в побеге, утопая
Близ Минтурны в блате жидком,
Он вещает ко несущу
К нему смерть наемну войну:
«Се, я Марий, коль дерзаешь!»
Но сей взор велика духа,
И велика среди бедствий,
Заградил взнесенно жало,
И в убийце своем Марий
Обретает себе друга; —
«Странник бедствен, укрываясь,
Конец жизни нося тяжкой,
Зри картину счастья шатка;
Зри величественный образ
Мария победоносна,
Марья первого во Риме
Здесь седящего (вещает)
На развалинах Карфаги!
О стяжатель власти, чести,
Зри там Марья — содрогни́ся».
Колесо всегда вертящесь
Превратилося Фортуны,
Марий паки в Капитольи;
Сердце, бедством изъязвленно,
Стало жестче стали крепкой,
И суровый сей велитель
Рим исполнил смерти, казни.
День румяный воссиявший
Освещал потоки дымны

Восструившейся по стогнам
Крови римской, — и свершался
Зря в мерцаньи кровь и гибель.
Но сей варвар ненасытный
Трепетал, воспомня Суллу.
Чтоб забыть тот страх, опасность,
Он предался гнусну пьянству
И в хмелю скончал жизнь срамну.

Се совместник Марьев, Сулла,
Се мучитель с сердцем нежным,
Се счастливым нареченный,
Рода знатна и украшен
Дарованьями различны;
Ум словесностью устроен,
В обхожденьи мил и гибок,
Но снедаем алчбой славы
И снедаем властолюбьем;
Храбр, деятелен, вождь мудрый,
Победитель Мифридата.
Мифридат, ирой, царь славный,
О пример ты зыбка счастья!
Враг он римлян, ненавистник
Сих тягчателей народов;
С юных лет он чует славу
Противстать струе сей, рвущей
Все оплоты; бодрый разум,
Возвышённы чувства сердца,
Крепость духа, храбрость, смелость,
Мужество, в трудах возросше,
Закаленное во славе,
Он дал бег душе отважной,
Властолюбия алкавшей,
На великая возмогшей.
Победитель он Асии,
Победитель он Еллады,
Уступить был принужденный
Счастью Рима, счастью Суллы.
Но иссунул меч кровавый
Паки на погибель Рима,
Тридцать лет сопротивлялся
Он грабителям вселенной,
Римлянам: но в тяжки лета,

Зря восставшего Фарнаса,
Сына, наущенна Римом,
Он мечем свою жизнь славну
Ненадежную исторгнул,
Не возмогши ее кончить
Жалом острым яда сильна;
Зане жизнь его, в смятеньи
Провождаема, успела
Притупить всю едкость яда.

Мифридата победивши,
Испровергнувши Афины,
Победивши всех ахеян,
Всех союзников и римлян,
Сулла меч свой, обагренный
Кровию доселе чуждой,
Он простер во сердце Рима.
Заградив на жалость сердце,
Хладнокровный был убийца
Всех, ему врагами бывших,
И трепещущие члены
Погубленных граждан Рима
Его были услажденье.
Нет, ничто не уравнится
Ему в лютости толикой,
Робеспьер дней наших разве.
Ах, во дни сии ужасны,
Где отец сыновней крови,
Где сыны отцовой жаждут,
Господу где раб предатель,
Средь разврата нагла нравов
Может разве самодержец,
Властию венчан всесильной,
Дать устройство, мир — неволи —
Пусть неволи, но отдохнет
Человечество от тяжких
Ран. Стал Сулла всевелитель,
Учредил благоустройство
Во мятежном сердце Рима.
И се муж, кровей столь жаждущ,
Погубитель граждан, воинов,
Грады, селы испровергший,
Наносивший смертны раны

Во сердцах семейств толиких,
Возгнушался своей властью
И дерзнул сойти с престола.
Он конец своея жизни
Провел мирно и в утехах
Сладострастья, неги, хмеля.
О властители народов!...
Или паче, сердца смертных
О загадка, нерешима
Ниже Сфинксу! будто только
Всевластителю угодно
Было кровию упиться
И возлечь на ложе мирно,
Среди Вакха, Мусс и Лелы.
Истина непостижима,
Но то истина, что может
Во душе, к любленью нежной
При вождении рассудка,
Привитать и люто зверство.

Где ты, Рим, где ты, отчизна
Простоты, смиренья, чести!
Добродетели опоры,
Потрясенные страстями,
Утопилися в ассийской
Роскоши; но се явленье,
Удивления достойно
Всех веков, всея вселенной;
Муж богатства неисчетна,
Пышностию превзошедший,
Роскошью и велелепьем
Всех царей роскошна встока,
И среди распутства, буйства,
Наглостей, презренья явна
Добродетели, законов,
Возмужался, явил свету
Сердце чистое и разум,
Всей изящностью украшен.
Воин храбрый и вождь мудрый,
Гражданин среди разврата;
Ненавистник ухищрений,
Скопов, казней, заговоров;
Не алкая властолюбьем,

Победитель Мифридата
Торжеством шел в Капитольи.
Сердце, руки непорочны,
Судия всегда правдивый,
Истина из уст нельстивых
Лукулла роскошна, пышна
Исходила непорочна.
Сын, отец и брат он нежный,
Господь щедрый, друг несчастных,
Он бы мог стать всех превыше,
Кесаря или Помпея,
Но иль мало он отважен,
Иль не дерзок, иль почтил он
Мир, покой средь Мусс и неги. —

Марий, проложив кровавый
Путь ко власти высшей в Риме,
Сулла, воинов купивши,
Показали, что возможно
Силой царствовати в Риме;
Рим, владыко всех народов,
Уж настала та минута,
Что ты выю свою горду
Под ярем насильства склонишь.
Если муж продерзкий, буйный,
Вихрь неистовый страстями,
Смелый ум, отважно сердце,
Сластолюбец, злодей гнусный...
(Зри, ступил, ушел и, в бегстве
Вырвавшись, мечем дерзает...
Но сражен, он озираясь
Грозит взором и скрежещет
Во отмщение зубами) — —
Если вольность Катилина
Не возможет испровергнуть,
То, спасенный Цицероном,
В мрежи ты падешь Помпея.
Властолюбец, не терпевший
Себе равного во Риме,
Жажду царствия прикрывши
Добродетельной личиной,
Он умеренности видом
Привлекал сердца и души;

Торжества исторгши почесть,
Еще юн, не хотел больше,
Чтоб его затмил кто в Риме:
Победитель и во власти
В Рим вступает гражданином,
Но он хитростью то будет,
Чего силой не желает.
Его честь и добродетель
На лице токмо сияли,
Но душа была бесстыдна.
Расширитель он пределов
Рима Ассии до сердца,
Он неистово гордился,
Презрил Юлия, вещая:
«Я воздвигну легионы,
Ударяя ногой в землю».
Во Фарсальских он долинах
Испытал превратность счастья,
И предательной десницы
Стал он жертвою плачевной,
Тако зданье, сооруженно
Хитростью и расточеньем,
Властию, умом, стрясется
И падет единым махом,
Коль найдет во преткновенье
Буйнее себя и дерзче.

Се возник тот муж предивный,
Удивленье веков поздных,
В юности распутен, жаждущ
Лишь веселья и утехи,
Дорогими ароматы
Нося кудри умащенны
И рача лишь о наряде,
Сей вознесся, да преломит
Твердый щит свободы Рима,
Но в котором еще Сулла
Марьев многих прорицает.
Юлий встал, и все поникло.
Ах! что может стать противу,
Когда Юлий в селе малом
Первым быть желает лучше,
Нежели вторым во Риме.

Алчба власти необъятна,
Совождаема рассудком
Твердым, быстрым, и глубокий
Ум блестящий, и украшен
Всей учености цветами.
Слово нежно и приятно,
Но и сильно, пылко, стройно,
Убеждать равно удобно
Душу, сердце жены, война.
Предприимчив, смел, отважен,
Жив, деятелен; чудесны
Он намеренья родивши,
Исполнял их устремленно;
Храбр и мужествен в сраженьи,
Мудр, разумен он в советах,
Милосерд, прощать обиды
Он готов всегда злодеям.
Как возможно, чтобы вольность
Устоять могла, шатнувшись,
Против Юлья? муж чудесный,
Он все качества изящны
Ссредоточил, недостатка
Ни едина не имевши,
Но пороков тьму; рожденный
К управленью, где бы ни был,
Победитель был бы тамо,
Где б случилось вождать войско.
Вольности умыслив гибель,
В достиженьи сея цели
Бдетелен был, трезв, незыблен,
Всегда к брани он готовый,
Рукой дерзкой и обильной
Рассыпал несчетно злато.
Покупал наемны души
И клевретов своих бранных
Делал Крезами, коль нужно.
Путь направя ко престолу,
Преткновенный став превыше,
Он себе позволил все, и
Свято было ль что, не ведал.

Так, Помпея победивши,
Излиял щедроты всюду

И явился царь премудрый.
Но или неосторожно,
Или гордостью своею
Оскорбив любящих вольность,
Сей вождь славный, муж великий
Пал, сражен друзей рукою,
Пал, ненужная ты жертва
Сокрушенныя свободы.
И, неслыханное чудо!
Тиран мертв, но где свобода?
Во служение поникший
Рима дух парить не может.
А ты, муж красноречивый,
Цицерон, прияв кормило,
Не возмог ты Римом править.
Ах, Катон, почто исторгнул
Жизнь свою ты столь некстате?
Ты бы участь зыбку Рима
Укрепить мог духом твердым.
Стань, сравнись со Цицероном;
Монтескьё о вас да судит.
Цицерон муж качеств дивных,
Но вторым быть, а не первым
Был удобен; ум прекрасный,
Но душа нередко низка.
В Цицероне добродетель
Есть побочность, а в Катоне
Она верх, подпора ж славы.
На себя всегда взор первый
Витий славный обращает;
А Катон себя не видит;
Рим спасти Катон желает,
Зане любит он свободу;
А муж слова сладка хощет
Рим спасти, из чванства разве;
И сей муж неосторожный
И тщеславный, ненавидя
Марк Антония, восставил
Юлия в Октавиане.
Но, обманутый младенцем
Почти, пал опасна жертва
Кровожадных триумвиров.
Тут воскрес, восстал от гроба

Ненасытец граждан крови,
Сулла; меч носился в Риме,
Пожиная всех, кто не мил
Иль опасен триумвирам.
Так, валясь везде на части,
Римска вольность исчезала.
Брут и Кассий, побежденны
В Греции, свой меч вонзают
В грудь свою без пользы Риму;
Только слава им осталась
Римляне последни зваться.
Потом, Марка победивши
Октавьян в Акцьи, трусливый,
Царь он стал огромна Рима.
И так сей злодей неистый,
Без законов и без правил,
Хитр, бесстыден, подл и алчен,
Благодарности чужд сердцем,
Сластолюбец и бездельник,
Кровожаждущ, но с насмешкой,
Воевода трус и робкий,
Но возлюбленный воинством,
Рим исполнивши насильства,
Грабежа, бесстыдства, крови,
И, насытившись надменно
Сладострастием позорным,
Стал превыше он всех в Риме.
Он в любовь к народу вкравшись,
Льстя его свободы видом
(Ах, достоин ли свободы
Ты, который лишь желаешь
Хлеба, хлеба, игр на цирке?),
Основал престол железный,
Где воссядет злодеянье
И с ним гнусные пороки.
Тако хитрый сей мучитель,
Безмятежным правя царством
Долго, был и щедр и кроток
И, кончину видя близку,
С твердостью вещал стоящим:
«Се конец игры, плещите»; —
Но потомство не обманешь, —
О неистовый счастливец;

Блеском своея державы
Одолжен ты Меценату,
Или Ливьи, иль Агриппе,
Иль льстецам твоим наемным,
Иль Горацью, иль Марону.
О умы, умы изящны,
Та ли участь Мусс, чтоб славить,
Кто вам жизнь лишь не отъемлет,
Иль, оставя вам жизнь гнусну,
Даст еще кусок, омытый
В крови теплой граждан, братьев.

Как струя, в своем стремленьи
Препинаема оплотом,
Роет тихо в основаньи
Связь подножья его крепка,
Но подрыв и отняв силу
У претящия плотины,
Ломит махом все преграды
И, разлившись с буйным ливом
По лугам, долинам, нивам,
Жатвы где блюлись и злаки,
Все покрыла волной мутной:
Так при Августе власть высша
Подрывала столб свободы,
Что Тиверий сринул махом.

Тиран мрачный, он подернул
Покрывалом тяжким скорби
Рим; тогда не злодеянье
В злодеяние вменялось;
Но злодей — кого Тиверий
Ненавидел или думал,
Что опасен он быть может.
Действие, невинна шутка,
Одно слово, знак, иль мысли —
Все могло быть преступленьем.
Там донос, ночное жало,
В бритву ядом изощренно,
Носят нагло днем во Риме.
Сын отцу и отец сыну,
Брату брат, супруг супруге,
Господину раб, друг другу

Чужды стали и опасны.
Оком рыси соглядая,
Лютость рыскала по стогнам
И с улыбкою змеиной
То чело знаменовала,
Что падет при всходе солнца
Иль увянет при закате.
Ах, исчезли те сердечны
Излиянья меж друзьями,
Что всю сладость составляли
Бесед тихих, но свободных;
Со пиршеств непринужденно
Отлетело уж веселье,
Скрыв чело блестяще, ало
Под покров густой печали;
И доверенность в семействах,
И в рабах, хоть редка, верность
Искаженны превратились
В недоверчивость, подобну
Стражу люту, что отъемлет
У несчастных услажденье
В бедстве томном, сон и слово.
Дружба там почлась не лучше
Скалы скрытой и подводной,
Где корабль при дуновеньи
Тихого Зефира будет
В корысть Сцилле иль Харибде
Откровенность и вид правды
Поставлялися безумьем.
И сама, ах! добродетель
Почиталася личиной,
Но опасной для тирана,
Зане вид ее любезный
Мог исторгнуть бы из груди
Воздыханье о блаженстве
Времен прежних, и родилась
Мысль, что Рим мог быть иначе.

Так вещает муж бессмертный
Монтескье, что нет тиранства
Злей, лютей, когда хождает
Под благой сенью законов,
И прикрытое шарами

Правосудия; подобно,
Как бы жалость всю презревши,
Отымать спасавшу доску
Претерпевших сокрушенье
Корабля, да гибнут в бездне.

Се лишь слабая картина
Царствия Тиверья мрачна.
Сей тиран согбенна Рима,
Возгнушавшись его лестью
Иль боясь, чтоб не воздвигло
В нем отчаянье десницу
На каранне правдиво
Всех его мучительств темных,
Отдалился во Капрею,
Где, когортами стрегомый,
Сластям гнусным предавался,
Коих образ даже срамный
Иль одно напоминанье
Омерзенье возбуждают.
Тамо отроков во сонме
Наслаждался он утехой,
Новы сласти вымышляя
И названия им новы;
Там, откуда его смрадны
Слуги, рыская повсюду,
Новых жертв всегда искали
Его мерзку любострастью;
Отрок нежный, возрощенный
В целомудрии, в смиреньи,
Исторгался из объятий
Отца, матери иль брата.
Ах, почто, почто и память
Сих всех гнусностей позорных
Едко время пощадило!
Время, в царствии драгое,
Истощая в сих утехах,
Исполненье своей власти
Злой тиран отдал Сеяну.
Сей, орудье его зверства,
Шел во власти и в тиранстве
Наравне с каприйским богом.
Погубив его семейство,

Он уж смелую десницу
На трепещуща тирана
К поражению возносит;
Но сам пал, и тиран лютый
Злей, лютее стал, дотоле,
Что, несчастный, избегая
Не кончины неизбежной,
Но терзаний, муки, пытки,
Жизнь заранее преторгши,
Извлекал из уст тирана
Слово зверское: «он спасся».
Сам Тиверий смертью лютой
Жизнь скончал свою поносну.

Ах, сия ли участь смертных,
Что и казнь тирана люта
Не спасает их от бедствий;
Коль мучительство нагнуло
Во ярем высоку выю,
То что нужды, кто им правит?
Вождь падет, лицо сменится,
Но ярем, ярем пребудет.
И, как будто бы в насмешку
Роду смертных, тиран новый
Будет благ и будет кроток;
Но надолго ль, — на мгновенье:
А потом он, усугубя
Ярость лютости и злобы,
Он изрыгнет ад всем в души.
Кай Калигула таков был,
Милосерд, но лишь вначале:
Он был щедр — — разве в тиранстве.
Юнош тихий и покорный
Был, доколе высшей власти
Не имел в своей деснице;
Потом тигр всех паче лютый.
И достойно назывался
Рабом лучшим во всем Риме,
Господином злей всех паче.
Он, лаская толпе черной,
На безумные издержки
Истощил несчетно злато.

И се светлое начало
Пременилось скоро, скоро.
Сверженно все и попранно
С наглостью; досель невинный,
Нравы, разум и законы,
Человечество и честность
Подавив пятою тяжкой,
Кай омылся в кровях Рима;
Он мучитель до безумства,
Сожалел о том лишь только,
Что народ, народ весь римский
Не одну главу имеет,
Да сраженна одним махом
Ниспадет ему в утеху.
Пьян, величием надменен,
Он царей всех чтил рабами,
Храм создал себе, как богу,
И велел обильны жертвы
Приносить себе, как Зевсу.
Блестел молньей, метал громы.
Удивиться тому должно,
Как мог Рим повиноваться
Дурака сего неиста
Бешенству толико яру;
Любодейца со сестрами,
Нагл, насилен и бесстыдно
Осрамлял супружие ложе.
Лишь стыдился, что Агриппа
Его дед был, и вещает:
«Мать мою родивша Юлья
Зачала в объятьях отчих
Бога Августа». — Безумный!
Нет, лишь смех ты возбуждаешь.
Но чему дивимся боле:
Иль надменности безумной,
Или зверству его яру?
Глад, иль мор, или пожары,
Или бедствия народны
Ему были услажденьем.
Но дотоль он презрил римлян
Или был безумен столько,
Что коня в своих чертогах
Угощал как мужа славна.

Он нарек его первейшим
Во священниках, и мыслил
Нарещи его в сенате
Консулом. — Но полно, полно,
Замолчим... Он жизнь столь гнусну
Острием скончал Херея.

Ах! пребудет удивленьем
Во все веки, во все роды...
Как Рим гордый, возмужавший,
Жив столетия во бранях
Непрестанных; источая
Кровь граждан и кровь противных,
Истребляя иль присвоя
Царствия, народы, веси,
Явив свету мужей дивных
В добродетелях, в геройстве,
Совершивши дел толико
И великих и блестящих,
Быв толико мудр в правленьи,
Мудр во бранях и в победах
Мужествен, тверд, постоянен,
Во опасностях незыблем;
И, поставив от начала
Присвоение вселенной
И намеренье блестяще
Столь умыслив остроумно,
Столь исполнив постоянно
И окончив столь счастливо...
Но на что ж?.. Дабы злодеев,
Извергов, чудовищ пять-шесть
Наслаждалися всем буйно...
Иль се жребий есть всеобщий,
Чтоб возвышенная сила,
Власть, могущество, блеск славы
Упадали, были гнусны?
И рачащие о власти
Для того ее лишь множат,
Чтоб тому она досталась,
Кто счастливее их будет?

Во всех повестях народов
Зрим премены непонятны.

Сенат римский, гордый, смелый,
Сонм князей, владык державных,
Пресмыкается и гнусен...
О властители вселенной,
О цари, цари правдивы!
Власть, вам данная от неба,
Есть отрада миллионов,
Коль вы правите народом,
Как отцы своим семейством.
Но Калигулы, Нероны,
Люты варвары и гнусны,
Суть бичи небес во гневе,
И их память пренесется
В дальни веки для проклятий
И для ужаса народам!
Кай сражен, сражен Хереем,
Что возмнил восставить паки
Истукан свободы в Риме.
И се, кроядся во страхе
В углу дальном царска дома,
Клавдий обретен трепещущ.
«Буди царь!» венцают войны.
О Рим, Рим! кто царь твой ныне?
Старец дряхлый, но младенец
Он умом: ум слабый, глупый;
Человек едва ль, зародыш,
По названью его родшей.
Мягкосерд, но что в том пользы?
Раб жены поносной, срамной,
Отрясшей стыд, раб Мессалины,
Коей имя ввек позорно
Нарицанием осталось
Жен презрительных, бесстудных
Он игралищем став гнусным
Отпуще́нников, злодеев,
Иль Нарцисса, иль Палладья,
Омывался в крови римлян.
В Риме тот был жив, здрав, знатен,
Кто их друг был иль наемник.

Кто с глупейшим из тиранов,
С Клавдием сравниться может?
Недовольная упившись

Мессалина сласти гнусной,
Пред очами она Клавдья
Во супружество вступает
Со возлюбленным ей Сильем.
Но что пользы в том, что смерти
Предаст Нарцисс Мессалину?
Клавдий слышал и трепещет:
«Я ль еще владыка Рима?»
Се вопрос тирана слаба.
Се жена распутна паки
Воцарилась Агриппина;
Но, боясь конца насильна,
Ко Локусте прибегает, —
И отрава отомщает
Падший Рим кончиной Клавдья.
Ах, погибли пораженны
Все останки умов твердых.
Зри, жена ироиска духа
Осужденному к злой смерти
Милому рекла супругу,
Да рукою своей твердой
Предварит он казнь поносну,
Но Пет медлит и робеет.
И се Арыя сталь остру
В грудь свою вонзает смело:
«Прими, мой Пет любезный,
Нет, не больно...» Пет, мужаясь,
Грудь пронзил и пал с супругой.

Но се тот уж воцарился,
Коего счастливу юность
Управлял Сенека, Бурруй;
Но который, сняв личину,
Каждый день своея жизни
Или каждый шаг свой зверский
Начертал убийством лютым;
Тот, чье имя ввек осталось
Всех поносное и гнусней
В нарицание тиранам,
Имя Нерон, зверь венчанный.
Во неистовых утехах
Провождая дни и нощи,
Он в позорищах являлся

Иль возницей, или гистрий,
В посмеянье был народу,
Но палач он, всем грозящий.
Он убийственную руку
Простирал на всех ближайших;
Мать, наставники, супруга —
Всё сраженно упадало
Под мечем сего тирана,
Столь мертвить людей умевша;
Насыщался ежедневно
Или сластию прегнусной,
Или кровью умовенный,
Его Рим зрел посягавша
Во жены Пифагораса,
И среди затей безумных,
В кровях плавая гражданских
И в хмелю утех неистых,
Он возмнил себе представить
Пожар, гибель древней Трои,
И для сей утехи злобной
Велел Рим возжечь отвсюду...
Се довольно, мы скончаем
Сию повесть, где лишь видно
Иль неистовство, иль зверство.
Убоясь попасти в руки
Своей страже вероломной
Иль сената, погибает
Смертью, красной для тирана:
Он мечем сам грудь пронзает,
И погиб, последня отрасль
Дому Юлия велика.
Гальба, Отон и Вителлий,
Появившись на престоле,
Смертию своей поносной
Уступили Веспасьяну,
Избранному в цари войском,
Трон, омытый своей кровью.

Некогда ласкатель гнусный
Он Нарцисса и Нерона,
Веспасьян явил на троне
Добродетель; и Рим гибший
Отдохнул — хоть ненадолго.

Далек пышности и спеси
И трудясь во управленьи,
Воздвигал погибше царство,
Где чредою скиптр держали
Злы тираны, равно гнусны,
Равно злобны, или глупы,
Или бешены, иль паче
Расточительны безумно.

Услажденье рода смертных,
Тит, почто прешел ты скоро?
Или для того, чтоб знали,
Что считал ты свое царство
Излиянным только благом,
Нарицая днем погибшим,
Когда счастья не мог сделать
Никому? Но век твой красен
Жизнью Плиния старейша...
Заключенный в недрах утлых
Огнь в Безувии, яряся,
Всклокотал и хлябь разинул,
Разорвав ее холм высший.
Огнь, каменья, дым и пепел —
Всё летит превыше облак,
Затмевая день и солнце.
Там рекой струится лава,
И всё гибнет, вся окрестность
Погребенною сокрыта
В пепле жарком и ниспадшем.
Геркуланум и Помпея
Низошли совсем в могилу;
Бедство, смерть, опустошенье
Распростерлися далеко.
Тут, вождаемый алчбою
Сведения и науки,
Погибает старший Плиний.
Но ты царствуешь, о сладость
Римского народа! — Тит, зри,
Как течет ко всем на помощь;
Если жизнь кто спас лишь в бедстве,
Тот блаженствует уж Титом.
Но, скончав свою жизнь кратку,
Тит престол оставил Рима

Иль чудовищу, иль брату.
Домитьан тиран сей новый,
Он тиранов всех предшедших
Злее был и не смягчался
Николи в своей он злобе,
Зане робок был, застенчив.
И столь гнусно было время, —
Тацит тако возвещает, —
Ниже молвить, ниже слышать;
Рим стал нем, пропало слово;
И погибла б даже память,
Если б можно было смертным
Терять память во молчаньи.
Но мучитель робкий слова,
Всех в стенанье приводивший,
Пал супруги наущеньем.
Но и дни сии столь гнусны
Красились, имея мужа,
Жить родившагось достойным
В лучших днях Афин и Спарты.
Се Агрикола, с тобою,
Домитиан, жил на то лишь,
Чтоб ты паче посрамленный
Пред потомками явился;
Зане истинно и верно,
Если сонмы людей славных
Могут красить дни счастливы
Царя мудра или щедра,
То один лишь муж великий,
В дни родившийся тирана,
Его паче лишь унизит
Ярым блеском своей славы.
Тогда паки воссияло
Солнце теплое для Рима;
По череде там зрели мудрость,
Славу, мужество во власти
И венчанну добродетель.

Нерва, избранный на царство,
Был правитель мудр, но слабый
И согбен лет тяготою;
Но он дал себе опору
И устроил счастье Рима,

В сыны взяв себе Траяна.
Его смерть была бы в Риме
Бедствие, когда б не знали,
Что Траян его преемник.

Ожил Рим с царем толиким;
Судия и воин мудрый,
Он имел, что было нужно
Быть царем. Алкая славы,
Он свой меч победоносный
В Дакию простер; воздвигнул
На Дунае мост тот славный,
Удивлявший столько древних;
И оружья славой, блеском
Ослеплен, понесся в дальню
Покорение народов.
Но хотя излишня слава
Победительные лавры
Затмевает, хотя жертвы
Сладострастия неиста
И возлития обильны
Хмельну Вакху прикрывают
Черной тению картину
Подвигов, равно блестящих,
Царя в брани или в мире:
Вопреки злоречья колка
Навсегда Траян пребудет
Пример светлый всем владыкам.
И тому дивися больше,
Что он, разума не красив
Благолепными цветами
Иль познаний иль науки,
Мог царем он быть столь мудрым.
В том как можно усумниться,
Когда дни его златые
Зрели Тацита и Плинья,
Ювенала и Плутарха.
Когда Тацит, сей достойный
Муж дней Рима непорочных,
Со восторгом мог воскликнуть:
«Век счастливый наш, где можно
Мыслить то, что мыслить хочешь,
И вещать, что ты помыслишь». —

Ах, сколь трудно, восседая
Выше всех и не имея
Никаких препон в желаньях,
Усидеть на пышном троне
Без похмелья и без чаду.
И тот царь почтен достойно,
Ускользнуть когда возможет
Обуяния неиста
Страстей буйных души смертных.

Адриан, на трон вступивший,
Строил счастье в римском царстве,
И хотя сравниться может
В добродетелях Траяну,
Но надменность и жестокость
Были в нем души пороки.
Гнусной страстью к Антиною
Тлея, в честь ему он строил
Храмы, грады, но всю гнусность
Страсти срамной и пороков
Он прикрыл раченьем к царству,
Путешествием всегдашним
В областях пространных Рима,

Не пустое любопытство
В страны дальны направляло
Его путь, но цель всегдашня
Путешествий столько дальных
Была польза и блаженство
Градов, областей, народа.
Устремляя взоры быстры
В управление подвластных,
Мститель был законов строгий
В лице всех, дерзнувших данну
Власть свою во зло направить.
Велелепные и пышны
Грады, зданья он воздвигнул,
Но не с тягостью народа;
Зане многие налоги
Облегчал и уничтожил.
Хоть достойный сей царь Рима,
Злой болезнью одержимый,
Жизнь свою прервать не могши,

Обратил свою всю лютость
На казнь, может быть не нужну,
Многих; но ему простили
Все за то, что себе избрал
Он в преемники на царство
Антонина. Хотя помним
Слово мудра Фаворина,
Состязавшись с Адрианом:
«Нет, кто тридцать легионов, —
Так мудрец друзьям вещает, —
Может двигнуть одним словом,
Ошибаться тот не может»
Но его дни безмятежны
Возрастили Адриана
И учителя во нравах
Строга, мудра Епиктита.
Испытав превратность счастья,
Он всю мудрость заключает
В двух словах: «сноси с терпеньем,
Будь умерен в наслажденьи».
Словеса много блаженны,
От источника исшедши,
Кажется, излишне строга,
Но соделавшие счастье
Рима, дав ему на царство
Всех владык его изящных.
Кажется, напрягши мышцы
Во изящность, вся природа
Возникала в человеке,
Когда мысль образовала
Столь достойну удивленья
Веков дальных и потомства.
Мысль изящную Зенона.
И хотя б другой заслуги
Мудрование столь чудно
Не имело, — не оно ли
Риму в счастье даровало
Антонина, Марк Аврелья? —

Дни блаженные для Рима
Уже паки воссияли.
Се восходит на трон света
Коего любезно имя

Целый век за честь вменяли
Носить римские владыки.
Мудрец истинный, украшен
Добродетели чертами,
И порока ни едина.
Антонин теченье жизни
Посвящал народну благу;
Гражданин, не царь во граде.
Се отец благий не титлом,
Коим красились венчанны
И злодеи и юроды,
Но отец он истым делом.
Ах, тот мог ли быть превратен,
Кто несчастием ужасным
Почитал, когда бы быть мог
Ненавидимым во Риме;
Собственность кто презирая,
Расточал свое богатство,
Что наследил, соблюдая
Он сокровища народны?
«Нет, Фавстина, — он вещает, —
Я, владыкою став Рима,
Собственности всей лишился».
Он уснул, и Рим восплакал,
И Антонин мог забвен быть
Тем лишь, избрал что на царство
По себе в Рим Марк Аврелья.
Имя сладостно и славно!
Се премудрость восседает
На престоле цела света.
Но он смертный был. Блаженство
Рима вянет с Марк Аврельем;
И столетия с стремленьем
Протекли за ним уж многи;
Но на поприще обширном,
На ристалище вселенной
Всяка слава и блистанье
Всех царей, владык прешедших
Перед ним суть разве слабый
Блеск светильника, горяща
В полдень ясный, в свете солнца;
Перед ним вся лучезарность
Подвигов в сверканьи славы

Суть лишь мрак, и тьма, и тени.
Когда взор наш изумленный
Обращаем на владыку
На всесильного, который
Столь смирен был во порфире,
То во внутренности духа
Мы таинственно веселье
Ощущаем, и не можно
Без сердечна умиленья
Вспомнить жизнь его премудру.
Слеза радости исступит,
Сердце, в радости омывшись,
Вострепещет, утешаясь.
Но... смолчим, в душе сокроем,
Ах, всю скорбь и тяжко чувство,
Что по сладости во сердце,
Вспоминая Марк Аврелья,
Восстает и жмет в нас душу.
Нет, не жди, чтоб мы дерзнули
Начертать его теченье.
Все, что скажем, будет слабо
И сравниться не возможет
С той чертой предвечна света,
Чем его живописала
Всех веков и всех народов
Образ дивный благодарность.
Его жизни описанье
Действо то вливает в душу,
Что изящнее возникнут
О себе самих в нас мысли
И равно изящны мысли
О превратном смертных роде.

Но надолго ли? — О участь,
Участь горька рода смертных!
Марк Аврелий уж скончался,
Счастье Рима с ним исчезло,
И благие помышленья
О блаженстве рода смертных.
Се торжественно и тихо,
Спровождаемо всех воплем,
Шествие его кончины
Отправлялося во Риме;

Но шаг каждый препинаем
Был слезами иль восторгом
Всего римского народа;
«Се наш друг — ах, паче друга,
Се родитель, се кормилец, —
Се отец, — се бог всещедрый. . .»
Скорбно в слухи ударяли
Словеса сии нельстивы
Того, кто вменит за тягость
Все благие помышленья.
И се во броне одеян
Коммод грозно потрясает
Копием, и все умолкло.
Шествие идет в молчаньи.
Ах, тогда уже познали,
Что сокрылося во гробе
Счастье Рима с Марк Аврельем,

МЕЛКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ЭПИТАФИЯ

О! если то не ложно,
Что мы по смерти будем жить;
Коль будем жить, то чувствовать нам должно;
Коль будем чувствовать, нельзя и не любить.
Надеждой сей себя питая
И дни в тоске препровождая,
Я смерти жду, как брачна дня;
Умру и горести забуду,
В объятиях твоих я паки счастлив буду.
Но если ж то мечта, что сердцу льстит маня,
И ненавистный рок отъял тебя навеки,
Тогда отрады нет, да льются слезны реки. —

Тронись, любезная! стенаниями друга,
Се предстоит тебе в объятьях твоих чад;
Не можешь коль пройти свирепых смерти врат,
Явись хотя в мечте, утеши тем супруга. . .

* * *

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? —
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу,
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,
Чувствительным сердцам и истине я в страх,
В острог Илимский еду.

* * *

— Почто, мой друг, почто слеза из глаз катится,
Почто безвременно печалью дух крушится?
Ты бедствен не один! Иной среди утех
Всесчастлив кажется, но знает ли, что смех?
Улыбка на устах его воссесть не может,
Змия раскаянья преступно сердце гложет;
Властитель мира, царь, он носит в сердце ад.

— Мне пользует ли то? лишен друзей и чад,
Скитаться по лесам, в пустынях осужденный,
Претящей властию отвсюду окруженный,
На что мне жить, когда мой век стал бесполезен?

— Воспомни прежни дни, когда ты был любезен
Всем знающим тебя, соотчичам, друзьям,
Когда во льстящей мгле являлось все очам.
Когда во власти был, веселий на престоле;
Когда рок следовал твоей, казалось, воле,
Когда один твой взор счастливых сделать мог.

— Блаженством все сие я почитать не мог.
Богатство, власть моя лишь зависть умножали;
В одежде дружества злодеи предстояли;
В след честолюбию забот собранье шло;
Злодейство правый суд и судию кляло;
Злоречие, нося бесстрастия личину,
И непорочнейшим делам моим причину
Коварну, смрадную старалось приписать
И добродетели порочный вид придать.
Благодеянию возмездьем огорченье.

— Среди превратности что ж было в утешенье?

— Душа незлобная и сердце непорочно.

— Скончай же жалобы, подъятые бессрочно.
Или в пороки впал и гнусность возлюбил,
Или чувствительность из сердца истребил?

— Душа моя во мне, я тот же, что я был.

— Дела твои с тобой, душа твоя с тобою.
Престань стенать. Кто мог всесильною рукою
И сердце любяще, и душу нежну дать,
К утехам может тот тебя опять воззвать.
А если твоего сна совесть не тревожит,
И память прежних дел печаль твою не множит,
То верь, что всем бедам уж близок стал конец.
Закон незыблемый поставил всеотец,
Чтоб обновление из недр премен рождалось,
Чтоб всё крушением в природе обновлялось,
Чтоб смерть давала жизнь и жизнь давала смерть;
То шествие судьбы возможно ли претерть?
На восходящую воззри теперь денницу,
На лучезарную ее зри колесницу;
Из недр густейшей мглы, смертообразна сна,
Возобновленну жизнь земле несет она.

— Се живоносное светило возблистало
И утренни мечты от глаз моих прогнало,
Приятный тихий сон телесность обновил,
И в сердце паки я надежду ощутил.

— Подобно ей печаль в веселье претворится,
Оружьем радости вся горесть низложится,
На крыльях радости умчится скорбь твоя,
Мужайся и будь тверд, с тобой пребуду я.

* * *

Час преблаженный,
День вожделенный!
Мы оставляем,
Мы покидаем
Илимские горы,
Берлоги, норы!

ЖУРАВЛИ

БАСНЯ

Осень листы ощипала с дерев,
Иней седой на траву упадал,
Стадо тогда журавлей собралося,
Чтоб прелететь в теплу, дальну страну,
За море жить. Один бедный журавль,
Нем и уныл, пригорюнясь сидел:
Ногу стрелой перешиб ему ловчий.
Радостный крик журавлей он не множит;
Бодрые братья смеялись над ним.
«Я не виновен, что я охромел,
Нашему царству как вы помогал.
Вам надо мной хохотать бы не должно,
Ни презирать, видя бедство мое.
Как мне лететь? Отымает возможность
Мужество, силу претяжка болезнь.
Волны несчастному будут мне гробом.
Ах, для чего не пресек моей жизни
Ярый ловец!» — Между тем веет ветр.
Стадо взвилося и скорым полетом
За море вмиг прелететь поспешает.
Бедный больной назади остается;
Часто на листьях, плывущих в водах,
Он отдыхает, горюет и стонет;
Грусть и болезнь в нем все сердце снедают.
Мешкав он много, летя помаленьку,
Землю узрел, вожделенну душею,
Ясное небо и тихую пристань.
Тут всемогущий болезнь излечил,
Дал жить в блаженстве в награду трудов;
Многи ж насмешники в воду упали.

О вы, стенящие под тяжкою рукою
Злосчастия и бед!
Исполнены тоскою,
Клянете жизнь и свет;
Любители добра, ужель надежды нет?
Мужайтесь, бодрствуйте и смело протекайте
Сей краткой жизни путь. На он-пол поспешайте:
Там лучшая страна, там мир вовек живет,
Там юность вечная, блаженство там вас ждет

ОСЬМНАДЦАТОЕ СТОЛЕТИЕ

Урна времян часы изливает каплям подобно:
Капли в ручьи собрались; в реки ручьи возросли,
И на дальнейшем брегу изливают пенистые волны
Вечности в море; а там нет ни предел, ни брегов;
Не возвышался там остров, ни дна там лот не находит;
Веки в него протекли, в нем исчезает их след.
Но знаменито вовеки своею кровавой струею
С звуками грома течет наше столетье туда;
И сокрушил наконец корабль, надежды несущий,
Пристани близок уже, в водоворот поглощен,
Счастие и добродетель, и вольность пожрал омут ярый,
Зри, всплывают еще страшны обломки в струе.
Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро,
Будешь проклято вовек, ввек удивлением всех.
Крови — в твоей колыбели, припевание — громы сраженьев:
Ах, омоченно в крови ты ниспадаешь во гроб:
Но зри, две вознеслися скалы во среде струй кровавых:
Екатерина и Петр, вечности чада! и росс.
Мрачные тени созади, впреди их солнце;
Блеск лучезарный его твердой скалой отражен.
Там многотысячнолетны растаяли льды заблужденья,
Но зри, стоит еще там льдяный хребет, теремясь;
Так и они — се воля господня — исчезнут растая,
Да человечество в хлябь льдяну, трясясь, не падет.
О незабвенно столетие! радостным смертным даруешь
Истину, вольность и свет, ясно созвездье вовек; —
Мудрости смертных столпы разрушив, ты их паки создало;
Царства погибли тобой, как раздробленный корабль:
Царства ты зиждешь; они расцветут и низринутся паки;
Смертный что зиждет, все то́ рушится, будет все прах.
Но ты творец было мысли: они ж суть творения бога;
И не погибнут они, хотя бы гибла земля;
Смело счастливой рукою завесу творенья возвеяв,
Скрыту природу сглядев в дальном таилище дел,
Из океана возникли новы народы и земли,
Нощи глубокой из недр новы металлы тобой.
Ты исчисляешь светила, как пастырь играющих агнцов;
Нитью вождения вспять ты призываешь комет;
Луч рассечен тобой света; ты новые солнца воззвало;
Новы луны изо тьмы дальной воззвало пред нас;

Ты побудило упряму природу к рожденью чад новых;
Даже летучи пары ты заключило в ярем;
Молнью небесну сманило во узы железны на землю
И на воздушных крылах смертных на небо взнесло.
Мужественно сокрушило железны ты двери призраков,
Идолов свергло к земле, что мир на земле почитал.
Узы прервало, что дух наш тягчили, да к истинам новым
Молньей крылатой парит, глубже и глубже стремясь.
Мощно, велико ты было, столетье! дух веков прежних
Пал пред твоим олтарем ниц и безмолвен, дивясь,
Но твоих сил недостало к изгнанию всех духов ада,
Брыжжущих пламенный яд чрез многотысящный век,
Их недостало на бешенство, ярость, железной ногою
Что подавляют цветы счастья и мудрости в нас.
Кровью на жертвеннике еще хищности смертны багрятся,
И человек претворен в люта тигра еще.
Пламенник браней, зри, мычется там на горах и на нивах,
В мирных долинах, в лугах, мычется в бурной волне.
Зри их сопутников черных! — ужасны! .. идут — ах! идут, зри:
(Яко ночные мечты) лютости, буйства, глад, мор! —
Иль невозвратен навек мир, дающий блаженство народам?
Или погрязнет еще, ах, человечество глубже? —
Из недр гроба столетия глас утешенья изыде:
Срини отчаяние! смертный, надейся, бог жив.
Кто духу бурь повелел истязати бунтующи волны,
Времени держит еще цепь тот всесильной рукой:
Смертных дух бурь не развеет, зане суть лишь твари дневные,
Солнца на всходе цветут, блекнут с закатом они;
Вечна едина премудрость. Победа ее увенчает,
После тревог воззовет, смертных достойный...
Утро столетия нова кроваво еще нам явилось,
Но уже гонит свет дня нощи угрюмую тьму;
Выше и выше лети ко солнцу, орел ты российский,
Свет ты на землю снеси, молньи смертельны оставь.
Мир, суд правды, истина, вольность лиются от трона,
Екатериной, Петром воздвигнут, чтоб счастлив был росс.
Петр и ты, Екатерина! дух ваш живет еще с нами.
Зрите на новый вы век, зрите Россию свою.
Гений хранитель всегда Александр будь у нас...

САФИЧЕСКИЕ СТРОФЫ

Ночь была прохладная, светло в небе
Звезды блещут, тихо источник льется,
Ветры нежно веют, шумят листами
Тополы белы.

Ты клялася верною быть вовеки,
Мне богиню нощи дала порукой;
Север хладный дунул один раз крепче, —
Клятва исчезла.

Ах! почто быть клятвопреступной!.. Лучше
Будь всегда жестока, то легче будет
Сердцу. Ты, маня лишь взаимной страстью,
Ввергла в погибель.

Жизнь прерви, о рок! рок суровый, лютый,
Иль вдохни ей верной быть в клятве данной.
Будь блаженна, если ты можешь только
Быть без любови.

ИДИЛИЯ

Краснопевая овсянка
На смородинном кусточке
Сидя громко распевала
И не видит пропасть адску,
Поглотить ее разверсту.
Она скачет и порхает, —
Прыг на ветку — и попала
Не в бездонну она пропасть,
Но в силок. А для овсянки
Силок, петля — зла неволя;
Силок дело не велико, —
Но лишение свободы!..
Все равно силок, оковы,
Тьма кромешна, плен иль стража, —
Коль не можешь того делать,

Чего хочешь, то выходит,
Что железные оковы
И силок из конской гривы
Всё равно, равно и тяжки:
Одно нам, другое птичке.
Но ее свободы хищник
Не наездник был алжирский.
Но Милон, красивый парень,
Душа нежна, любовь в сердце.
«Не тужи, моя овсянка! —
Говорит ей младой пастырь, —
Не злодею ты досталась,
И хоть будешь ты в неволе,
Но я с участью твоею
С радостью готов меняться!»
Говоря, он птичку вынул
Из силка и, сделав клетку
Из своих он двух ладоней,
Бежит в радости великой
К тому месту, где от зноя,
В роще темной и сенистой
Лежа стадо отдыхало.
Тут своей широкой шляпой,
Посадив в траву легонько,
Накрывает краснопеву
Пленницу; бежит поспешно
К кустам гибким он таловым.
«Не тужи, мила овсянка,
Я из прутиков таловых
Соплету красивый домик
И тебя, моя певица,
Отнесу в подарок Хлое.
За тебя, любезна птичка,
За твои кудрявы песни
Себе мзду у милой Хлои,
Поцелуй просить я буду;
Поцелуи ее сладки!
Хлоя в том мне не откажет,
Она цену тебе знает;
В ней есть ум и сердце нежно.
Только лишь бы мне добраться..
То за первым поцелуем
Я у ней другой украду,

Там и третий и четвертый;
А, быть может, и захочет
Мне в прибавок дать и пятый.
Ах, когда бы твоя клетка
Уж теперь была готова!..»
Так вещая, пук лоз гибких
Наломав, бежит поспешно,
К своему бежит он стаду
Или лучше к своей шляпе,
Где сидит в неволе птичка;
Но... злой рок, о рок ты лютый...
Остра грусть пронзает сердце;
Ветр предательный, ветр бурный
Своротил широку шляпу,
Птичка порх и улетела,
И все с нею поцелуи.

На песке кто дом построит,
Так пословица вещает,
С ног свалит того ветр скоро.

ПЕСНЯ

Ужасный в сердце ад,
Любовь меня терзает;
    Твой взгляд
Для сердца лютый яд,
Веселье исчезает,
Надежда погасает,
    Твой взгляд
Ах, лютый яд.

Несчастный, позабудь...
Ах, если только можно,
    Забудь,
Что ты когда-нибудь
Любил ее неложно;
И сердцу, коль возможно,
    Забудь,
Когда-нибудь.

Нет, я ее люблю,
Любить вовеки буду;

Люблю,
Терзанья все стерплю
[Ее не позабуду],
И верен ей пребуду;
Терплю,
А все люблю.

Ах, может быть, пройдет
Терзанье и мученье;
Пройдет,
Когда любви предмет,
Узнав мое терпенье,
Скончав мое мученье,
Придет,
Любви предмет.

Любви моей венец
Хоть будет лишь презренье,
Венец
Сей жизни будь конец;
Скончаю я терпенье,
Прерву мое мученье;
Конец
Мой будь венец.

Ах, как я счастлив был,
Как счастлив я казался;
Я мнил,
В твоей душе я жил,
Любовью наслаждался,
Я ею величался
И мнил,
Что счастлив был.

Все было как во сне,
Мечта уж миновалась,
Ты мне,
То вижу не во сне,
Жестокая, смеялась,
В любови притворялась
Ко мне,
Как бы во сне.

Моей кончиной злой
Не будешь веселиться,
    Рукой
Моей, перед тобой,
Меч остр во грудь вонзится,
Моей кровь претворится
    Рукой
Тебе в яд злой.

ОДА К ДРУГУ МОЕМУ

1

Летит, мой друг, крылатый век,
В бездонну вечность всё валится,
Уж день сей, час и миг протек,
И вспять ничто не возвратится
                    Никогда.
Краса и молодость увяли,
Покрылись белизной власы:
Где ныне сладостны часы,
Что дух и тело чаровали
                    Завсегда?

2

Твой поступь был непреткновен,
Гордящася глава вздымалась;
В желаньях ты не пречерчен,
Твоим скорбь взором развевалась,
                    Яко прах.
Согбенный лет днесь тяготою,
Потупил в землю тусклый взор;
Скопленный дряхлостей собор
Едва пренес с своей клюкою
                    Один шаг.

3

Таков всему на свете рок:
Не вечно на кусту прельщает
Мастистый розовый цветок,
И солнце днем лишь просияет,
                    Но не в ночь.

А. В. Радищева (жена писателя)

Мольбу напрасно мы возводим,
Да прелесть юных добрых лет
Калечна старость не женет;
Нигде от едкой не уходим
Смерти прочь.

4

Разверзтой медной хляби зев,
Что смерть вокруг тебя рыгает,
Ту с визгом сунув махом в бег.
Щадя, в тебя не попадает
На сей раз.
Когда на влажистой долине
Верхи седые ветр взмутит,
Как вал ярясь в корабль стучит —
Переплыл не поглощен в пучине
Ты в сей час.

5

Не мни, чтоб смерть своей косой
Тебя в полете миновала;
Нет в мире тверди никакой,
Против ее чтоб устояла,
Как придет.
Оставишь дом, друзей, супругу,
Богатства, чести, что стяжал:
Увы! последний час настал,
Тебя который в ночь упругу
Повлечет.

6

Кончины узрим все чертог,
Объят кровавыми струями;
Пред веком смерть судил нам бог
Ее вершится все устами
В мире сем.
Ты мертв; но дом не опустеет,
Взовет преемник смехи твой;
Веселой попирать ногой,
Не думая, твой прах умеет,
Ни о чем.

7

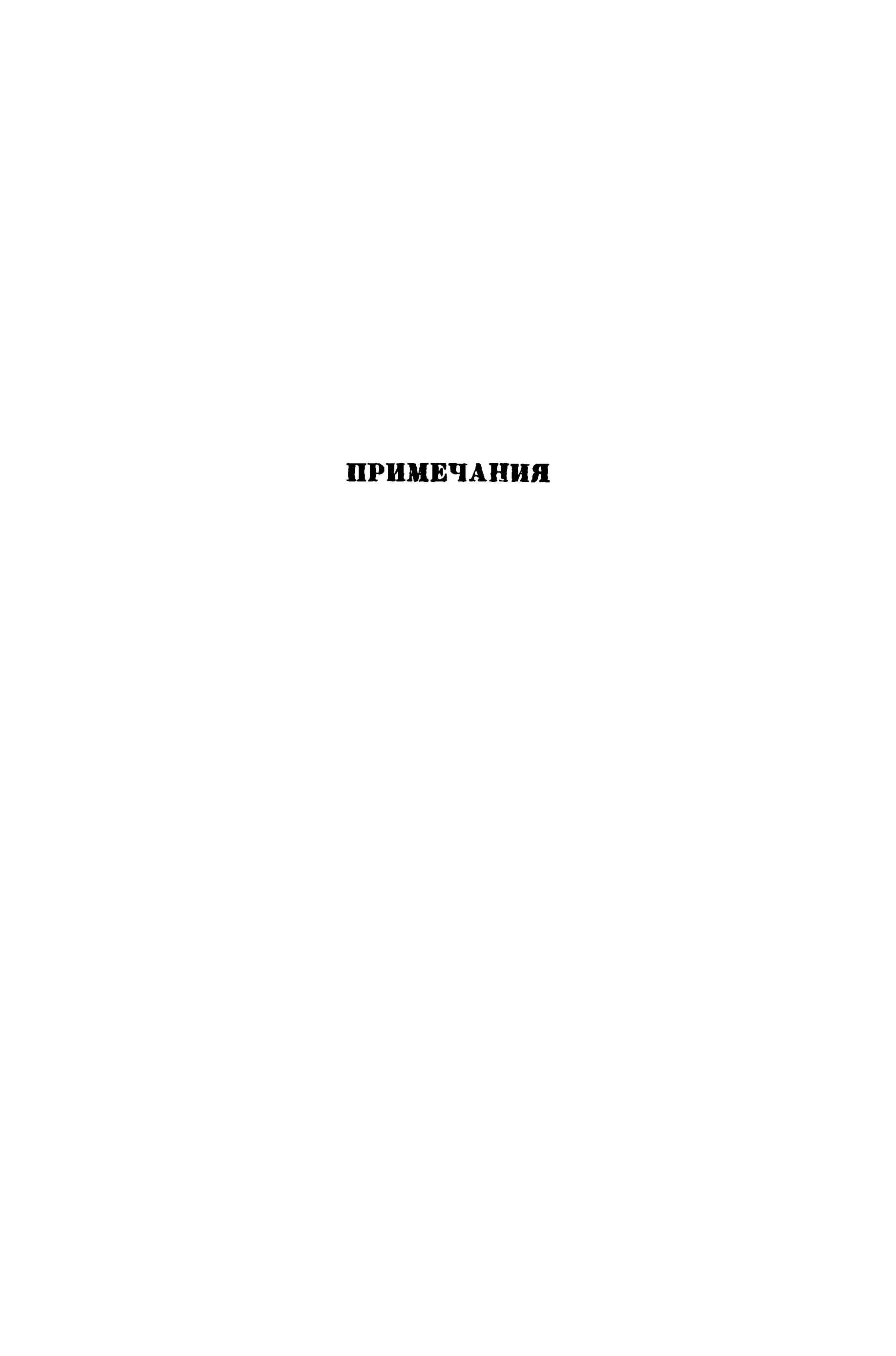
Почто стенати под пятой
Сует, желаний и заботы?
Поверь, вперять нам ум весь свой
В безмерны жизни обороты
Нужды нет.
Спокойным оком я взираю
На бурны замыслы царей;
Для пользы кратких, тихих дней,
Крушась всечасно, не сбираю
Златых бед.

8

Костисту лапу сокрушим,
Печаль котору в нас вонзила;
Мы жало скуки преломим,
Прошед что в нас с чела до тыла.
Душу ест.
Бедру весельем препояшем,
Исполним радости сосуд,
Да вслед идет любовь нам тут;
Богине бодрственно воспляшем
Нежных мест.

МОЛИТВА

Тебя, о боже мой, тебя не признавают, —
Тебя, что твари все повсюду возвещают.
Внемли последний глас: я если прегрешил,
Закон я твой искал, в душе тебя любил;
Не колебаяся на вечность я взираю;
Но ты меня родил, и я не понимаю,
Что бог, кем в дни мои блаженства луч сиял,
Когда прервется жизнь, навек меня терзал...



ПРИМЕЧАНИЯ

ВОЛЬНОСТЬ

Ода была написана Радищевым около 1781—1783 гг.; это доказывается тем, что в оде говорится об американской революции, о борьбе североамериканских колоний за независимость и за республику, как о факте еще протекающем или во всяком случае современном (строфа 34). Война в Америке за независимость длилась с 1776 по 1783 г. Но ода не может быть отнесена ко времени ранее 1781 г., так как в ней в строфах 46—47 устанавливается текстуальное сближение с аналогичным местом книги Рейналя «Tableau et révolutions des colonies angloises dans l'Amérique», вышедшей в 1781 г.

В процессе работы над «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищев включил в книгу всю оду «Вольность» целиком (в главу «Тверь»). В окончательной печатной редакции «Путешествия» она дана в сильно сокращенном виде; только 14 строф приведено полностью, еще несколько строф представлено отрывками, другие заменены кратким прозаическим изложением их содержания. Однако нельзя думать, что при сокращении оды Радищевым руководили цензурные соображения: бо́льшую часть строф, признанных им самим в особенности «криминальными», он тем не менее включил в печатный текст (строфы 3, 4, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23 — по счету строф полного текста оды; и еще отрывки строф 10, 11, 22, 38). В. Семенников, сличая нумерацию строф в печатном тексте и в рукописной редакции, приходит к выводу, что Радищев при окончательной проверке оды вообще счел нужным исключить из нее не менее 3 строф: 9, 24 и одну из числа строф 26—37 полного текста. При этом мотивы здесь могли быть чисто литературного порядка (см. В. П. Семенников, «Радищев», 1923, стр. 426). Во всяком случае, полный текст оды «Вольность» остался неизданным как при жизни Радищева, так и в течение более чем ста лет после его смерти. Этот полный текст сохранился в списке «Путешествия», принадлежавшем в свое время М. Н. Лонгинову, а ныне хранящемся в Институте русской литературы Академии Наук СССР. В 1861 г. Лонгинов давал список на время для изучения сыну Радищева, Павлу Александровичу (см. письмо П. А. Радищева к М. Н. Лонгинову от 12 ноября 1861 г. — архив Института Литературы Академии Наук СССР), который, повидимому, и выписал из него всю оду «Вольность». Еще в 60-х годах П. А. Ефремов получил от П. А. Радищева список оды. Этот список отличался по тексту от подлинного дошедшего до нас списка; повидимому, кто-то, а скорей всего сам Павел Радищев, «подправил» оду «Вольность». Ефремов включил оду в свое Собрание сочинений

Радищева (1872), но в сокращенном виде. Однако это Собрание сочинений не увидело света и было почти целиком уничтожено. Потом ода была помещена в «Русской Поэзии» Венгерова (т. I, 1895 г., стр. 846—848), опять с сокращением. Наконец, только после революции 1905 г. ода «Вольность» могла появиться в печати полностью. Она была издана отдельной брошюрой в 1906 г. издательством «Сириус» по тексту Ефремова, полученному им от П. А. Радищева.

В 1922 г. В. П. Семенников опубликовал впервые полный текст оды «Вольность», по списку, бывшему у Лонгинова и лежащему в основе Ефремовского, несомненно испорченного текста («Былое», № 19, и в брошюре В. П. Семенникова «Новый текст „Путешествия из Петербурга в Москву" Радищева»), причем опубликовал с неточностями. В настоящем издании текст оды воспроизведен по тому же списку с исправлением явных ошибок писца.

В Лонгиновском списке сделан ряд поправок карандашом (видимо, не рукой П. А. Радищева и, конечно, не М. Н. Лонгиновым); происхождение их неизвестно.

Часть этих поправок совпадает с теми, которые сделаны нами; частично же они явно портят текст (ломают стих); их неавторитетность не позволяет их ввести в основной текст (кроме двух стихов, вписанных на пропущенных местах и данных у нас в прямых скобках).

Текст нашего списка, очевидно, более ранней редакции, чем тот, который дан для части строф в печатном издании «Путешествия» 1790 г. Значительных отличий обоих текстов всего 4: в строфе 3 в печ. тексте стих 10: «Вот что есть в обществе закон»; в строфе 19 (по печ. тексту 18) стих 8 в печ. тексте: «Расчистил мерзостям дорогу»; в строфе 21 (по печ. тексту — 20) в печ. тексте в стихе 3: «В злодея меч мой изощренный»; в строфе 53 (по печ. тексту 49) в печ. тексте в стихе 9: «Развеется в одно мгновенье». Мы не сочли возможным давать текстологическую смесь обеих редакций и оставили эти места в том виде, как они даны Лонгиновским списком.

ТВОРЕНИЕ МИРА

Эта неоконченная поэма, относящаяся, повидимому, к 80-м годам, скорее к концу десятилетия, была введена сначала в текст «Путешествия из Петербурга в Москву», но из печатного текста была исключена Радищевым, может быть, из цензурных опасений, поскольку она трактовала мотивы религиозно-философского характера в смысле, не сходном с официально-церковной догматикой. В «Путешествии» поэма находилась в главе «Тверь», после оды «Вольность». После того, как описываемый в этой главе поэт показал герою-путешественнику эту оду и тот разочаровал его в возможности напечатать это явно нецензурное произведение, поэт, «поглядев на меня с презрением: прочтите сию бумагу и скажите мне, не посадят ли и за нее... Читайте: сие долженствовало быть для великого поста, некоторым случаем не докончано. Да будет оно пример, как можно писать не одними ямбами. Развернув, прочел следующее:

Творение мира.
Песнословие.
Хор.

Тако предвечная мысль, осеняясь собою и проч. Вы уже улыбаться начинаете, вам кажется уже, что читаете Телемахиду. Но смейтесь как хотите; чудище обло огромно, стризевно и лаяй — не столь дурной стих. Но о сем теперь не кстати, продолжайте и смейтесь». Далее идет текст поэмы. Потом — снова проза: «Конца нет. — Что ж вы скажете об употреблении в одном сочинении разного рода стихов? Но сие смешение не только прилично малому и для пения определенному стихотворению, то удачно будет и в епопеи. Не мой сей есть совет, но Мармонтелев. — Я, собрав мои мысли, хотел ему на его стихи сказать нечто, может быть ему и неприятное. Но колокольчик на дуге возвестил мне, что в дороге складнее поспешать на почтовых клячах, оставляя Пегаса в парнасской конюшне, и для того я поспешно с новомодным моим стихоплетчиком простился». В главе «Тверь» речь шла о поэзии, в частности, о необходимости реформировать русскую метрику, обогатить ее новыми формами стиха, нарушить гегемонию и почти монополию ямба. Иллюстрацией возможности создания в русском языке многообразия метрических форм и должна была явиться поэма «Творение мира».

Радищев дал ей подзаголовок «Песнословие» и указал, что она определена для пения. «Песнословие» значит — оратория, текст к музыке, произведение, предназначенное для исполнения хором и отдельными голосами.

Поэма «Творение мира» была напечатана впервые (не вполне исправно) в 1922 г. В. П. Семенниковым в журнале «Былое» (№ 19) и в брошюре «Новый текст „Путешествия из Петербурга в Москву" Радищева». В. П. Семенников извлек ее из списка «Путешествия», хранящегося в Институте русской литературы Академии Наук СССР (Лонгиновского списка).

БОВА

Поэма «Бова» была написана Радищевым после его возвращения из Сибири, не ранее 1798—1799 гг.; это явствует из двух мест «Вступления» к поэме: в одном Радищев говорит о том, что он «ездил Во страны пустынны, дальны, Во леса дремучи, темны, Во ущелья — ко медведям»; в другом, говоря о Сибири, так характеризует ее: «В ту страну ужасну, хладну, В ту страну, где я средь бедствий, Но на лоне жаркой дружбы Был блажен и где оставил Души нежной половину». Здесь Радищев имеет в виду смерть своей второй жены Е. В. Рубановской в Тобольске, на обратном пути из Сибири, 7 апреля 1797 г. Затем, в тексте упоминается поэма С. Боброва «Таврида», вышедшая в 1798 г. Сын Радищева Павел датировал «Бову» 1799 г. (он писал приблизительно через 50 лет и по памяти; см. В. П. Семенников, «Радищев», 1923 г., стр. 236).

Сохранившееся начало поэмы Радищева (вступление и первая песнь) было напечатано впервые в его Собр. соч., т. I, 1807 г. В настоящем издании исправлены явные опечатки издания 1807 г. В издании 1807 г. поэме был предпослан прозаический «План богатырской повести Бовы», к которому сделано примечание («Известие») от редакторов: «Одиннадцать песней Бовы были уже написаны, двенадцатая и последняя начата, но по смерти сочинителя нашлася только первая песнь, изготовленная к тиснению. Может быть, причтут нам в пристрастие, но, кажется, потеря забавной сей

поэмы достойна сожаления. В первой песне найдутся негладкости, но сколько заменены они легкостию, приятностию, веселостию, чувствительностию, сколько картин приятных и как занимательно начало сей поэмы. — Мы читали все одиннадцать песней и скажем, что все были не хуже первой, а некоторые далеко ее превосходили. Чтоб дать читателям понятие о всей поэме, прилагаем план оной, хотя в первой песни и сделаны против него некоторые перемены». В настоящем издании мы также даем сначала прозаический план поэмы, потом уже сохранившуюся часть ее.

Радищев положил в основу своей поэмы некоторые мотивы из распространенного в XVIII в. романа-сказки о Бове-королевиче. Радищев обработал повесть о Бове, которую он воспринимал уже как народную сказку, совершенно свободно. Он заимствовал из нее имена героев — Мелетриса (Милитриса) и ее отец Кирбит Версаулович (Верзаулович), Гвидон (Видон), Дадон, Лукопер, Полкан (получеловек-полуконь); затем он использовал в плане поэмы ряд мотивов сказки о Бове, например — встреча и бой Бовы с Полканом и потом союз их, история царевны (Дружневны), нанявшейся в работницы, дервиш (пилигрим в сказке), усыпляющий и предающий Бову, освобождение Бовы из плена и др. (см. Н. Г. Павлова, Сказка «Бова» у Радищева и Пушкина, как вид политической сатиры. «Звенья», № 1, 1932, стр. 527—528).

Политическая подкладка ряда мест «Бовы» не помешала Радищеву ввести в свою поэму элемент эротики. В этом отношении примером ему служил Вольтер, умевший соединять веселую и весьма легкомысленную шутку с пропагандистским идеологическим заданием. Образцом такого искусства служила в XVIII в. знаменитая поэма Вольтера «Орлеанская девственница» (изд. впервые в 1755 г.). К Вольтеру обращается Радищев во вступлении к своему «Бове». Он хотел бы, чтобы его поэма была сколько-нибудь похожа на «Жанету девку храбру, Что воспел ты», т. е. на «Орлеанскую девственницу» (Жанну д'Арк); таким образом Радищев сам устанавливает зависимость «Бовы» от Вольтеровской поэмы. В 1-й песне «Бовы» Радищев опять возвращается к Вольтеру, теперь уже к его сказке в стихах «То, что нравится женщинам» («Ce qui plait aux dames»). Говоря о любовных посягательствах старухи на Бову, он вспоминает «славного витязя Роберта», т. е. попавшего в аналогичную ситуацию героя Вольтеровской сказки.

Эпиграф — перевод с итал.: «О, какой случай, какое приключение».

Вступление. «*Моего Сумы любезна*». Сын Радищева пишет о нем: «первый его пестун и учитель русской грамоты был дядька Петр Мамонтов по прозванию Сума, к которому он обращается во вступлении своей поэмы «Бова», взятой из сказки, часто рассказываемой ему этим Сумою» (Н. П. Кашин, Новый список биографии А. Н. Радищева, 1912, стр. 3). «*Возгнездился б в Пантеоне*» — Парижский Пантеон с 1791 г. по постановлению Национального Собрания был усыпальницей великих людей Республики и местом, где выставлялись скульптурные изображения их. «*Будет равная с Жанлисой*». Графиня де Жанлис (Genlis) — французская писательница и педагог, автор ряда романов и педагогических работ. Эпигонски-сентиментальные книги Жанлис при ее жизни «опустились» в бульварную литературу. «*Где последний из Гиреев*» — Шагин-Гирей, после Кучук-Кайнарджийского мира (1774) посаженный русским

правительством на ханский престол. Проводимая Шагин-Гиреем политика русских колонизаторов вызвала ряд восстаний; Шагин-Гирей в 1783 г. был вынужден отказаться от престола; в 1787 г. он уехал в Турцию, где вскоре был убит. *«Во Болгарах спою песню»*. Радищев имеет в виду, конечно, волжских болгар, государство которых на Волге существовало в X—XIV вв. *Ворисфен* — Днепр. *«Читай Бишинга — от скуки»*. Радищев имеет в виду многотомные сочинения известного географа XVIII в. Бюшинга.

Песнь I. *«Тут Бова, собрав все силы»* и т. д. — Это место, где Бова собирается приступить к рассказу о своих бедствиях перед любвеобильной старухой, комически пародирует начало второй песни «Энеиды» Вергилия, где Эней таким же образом приступает к повествованию своих похождений о гибели Трои и предупреждает слушающую его возлюбленную Дидону о том, что рассказ его будет печален. *«Скиптр никак не мог достаться в руки, пряслицей что правят»*. Здесь, разумеется, намек на историю русского трона, в XVIII в. пять раз занимавшегося женщинами. *«И такими лишь шарами»* и ниже: *«Оживляются шарами»*. Шарами — т. е. красками. *Парацельс, Авицена, Бехер, Альберты* — ученые XI—XVII веков (Альберты — повидимому, ученый XIII в. Альберт Великий и немецкий медик XVI в. Альберти). *Брант* и *Кункель* — алхимики XVII в.

ПЕСНИ, ПЕТЫЕ НА СОСТЯЗАНИЯХ

Напечатано впервые в т. I Собр. соч. 1807 г. В настоящем издании исправлены явные опечатки этого издания. До нас дошло только начало этой поэмы, точнее — прозаическое введение к ней и первая часть самой поэмы. Скорей всего, остальные части ее вовсе не были написаны Радищевым. Введение, в котором описано торжество древних славян, определяет предполагаемую структуру всей поэмы. Она должна была, повидимому, состоять из отдельных песнопений, произносимых состязающимися певцами. Первый певец, выступивший на состязании, — Всеглас; его именем и названа первая часть поэмы, представляющая его песнь; далее должны были итти песни других певцов — Кругосвита, Хохта, Звена, Тиховоя. Начало поэмы Радищева написано в 1800—1802 гг.; эпиграф к ней взят из «Слова о полку Игореве», напечатанного в 1800 г. («Героическая песнь о походе на половцев удельного князя Новгорода-Северского Игоря Святославовича», М., 1800). Мотивы «слова» использованы и в тексте введения и в обращении к Бояну в начале его. В своей поэме Радищев широко использовал имена псевдославянской мифологии. Уже в начале введения к поэме перечисляются славянские боги, как действительные (Перун, Велес), так и измышленные в XVIII в. Приводим сокращенное объяснение этих имен по М. Попову (по его «Досугам», 1772).

Перун — «начальнейший славенский бог. Почитали его производителем всех воздушных явлений и действ, как то: грома, молнии, облаков, дождя и прочего...» *Святовид* — «бог солнца и войны». *Велес* — «славенский бог, начальствующий над скотами, по Перуне первый». *Позвизд* — «славенский Эол, которого древние признавали богом бурных ветров, а у киевлян почитался он богом воздуха, вёдра и ненастья». *Ний* — у Попова Ния — «признавался... подземным богом, коего степень занимал у греков и римлян Плутон,

адский царь». *Чернобог* — «некоторые варяжские славяне признавали его злым божеством и приносили ему жертву кровавую и печальное моление и также страшные заклятия». *Лада* — «богиня киевская, подобящаяся во всем Венере. Славяне признавали ее богинею браков и веселия любовного». *Леля*, Лелио (или Лель), — «сын Ладин, нежный божок воспаления любовного». *Полеля* (Полель) — «славенский Именей, сын Ладин», т. е. бог брака. *Даждьбог* (Дажбог) — «божество славянское, почитавшееся в Киеве... По догадке имя его означает оного богом подателем благ, от коего молебщики ожидали себе счастия; почему, кажется, можно его почесть богом богатств» (у Радищева несколько иное толкование). *Знич* — «священный неугасимый огонь. По многим городам имели славяне его храмы, жертвовали ему частию из полученных у неприятеля корыстей и пленными христианами». *Купало* — «киевский бог плодов, второй по Перуне». *Зимцерла* (в поэме Радищева «Бова») — «славянская богиня. Какие приписывались ей качества, о том ничего неизвестно; разве испорченное ее название произвесть от имени з и м а и глагола с т е р т ь, так называется она З и м с т е р л о ю и будет походить на богиню весны и лета, либо на Флору, богиню цветов». Большинство этих богов подогнано к привычным образам античной мифологии. *Крушцы* — металлы. *Возниченный* — возвышенный. *Харолуга* — сталь, вместо меч.

ПЕСНЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ

Напечатана в т. I Собр. соч. 1807 г. В наст. издании исправлены опечатки издания 1807 г. Написана «Песнь», по всей вероятности, в последний год жизни Радищева, т. е. после смерти Павла I; об этом говорит то место поэмы, где идет речь о смерти Тиверия. Есть все основания полагать, что Радищев имеет здесь в виду смену царей-тиранов 11 марта 1801 г. В том виде, в каком она до нас дошла, «Песнь Историческая» представляет собою, повидимому, лишь начало огромной поэмы, излагающей всю всемирную историю, начиная со времен «баснословных». Радищева интересовало при этом не столько изложение исторических событий самих по себе, сколько те политические выводы, те уроки для современности, которые можно было извлечь из этих событий.

В тексте поэмы Радищев упоминает Рамзея, автора политико-нравоучительного романа «Les voyages de Cyrus» (1727), переведенного и на русский язык («Новое Киронаставление или путешествия Кировы», ч. II, пер. А. Волков, М., 1765; другой перевод А. В. Храповицкого, 2 ч., М., 1785). Говоря о Катоне и Цицероне, Радищев сопоставляет их, ссылаясь на Монтескье. Все это место переведено из Монтескье, который сравнивает Катона с Цицероном в «Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leurs décadence» (гл. XII). Несколько ниже Радищев, говоря о Тиберии, опять ссылается на Монтескье. Здесь мы находим перевод оттуда же (гл. XIV). Говоря о временах императора Траяна, Радищев приводит слова Тацита. Это место из «Истории Тацита» (кн. I, гл. I) вошло в эпиграф к «Стихотворениям Державина» (т. I, 1798 г.) — «О время благополучное и редкое, когда мыслить и говорить не воспрещается...» и т. д.

Господу, господь — господину, господин. *Мусс* — муз. *Шарами* — красками. *Гистрий* (гистрион) — актер, лицедей.

МЕЛКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Мелкие стихотворения Радищева относятся к разным годам. Датировать их все не представляется возможным.

Большинство мелких стихотворений Радищева было напечатано впервые в т. I Собрания его сочинений (1807), причем некоторые напечатаны не совсем исправно. Мы исправили явные ошибки этого издания, но, конечно, не имели возможности восстановить текст полностью, не имея ни рукописей, ни авторитетного авторского издания их. Мы располагаем стихотворения следующим образом: сначала в хронологическом порядке мы даем те стихотворения, которые могут быть датированы точно или приблизительно; потом уже идут произведения, относительно времени написания которых нет возможности притти к сколько-нибудь определенному решению.

Эпитафия. Напечатана впервые в т. I Собр. соч. 1807 г. Стихотворение датируется 1783 годом — годом смерти первой жены Радищева — А. В. Рубановской. В хранящемся в архиве Института Литературы Академии Наук СССР автографе статьи сына Радищева Павла Александровича о своем отце приведен — вероятно по памяти — текст «Эпитафии» с некоторыми вариантами.

«Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду?». Стихотворение было найдено П. А. Ефремовым в списке в принадлежавшем ему старинном сборнике 1792 г. и напечатано в его издании «Живописца» Н. И. Новикова, СПб., 1864, в примечаниях, на стр. 347, с пропуском 6-го стиха: потом — в его же уничтоженном издании сочинений Радищева 1872 г. полностью. Стихотворение датируется временем пребывания Радищева в Тобольске во время путешествия в ссылку (январь — июль 1791 г.). В списке Ефремова стихотворение имело заглавие: «Ответ Г-на Радищева во время проезда его через Тобольск, любопытствующему узнать о нем».

«— Почто, мой друг, почто слеза из глаз катится». Напечатано впервые в т. I Собр. соч. 1807 г. Написано Радищевым в Сибири, может быть, во время путешествия туда, как видно из ст. 8—10, в которых поэт говорит о своей жизни в ссылке, вдали от друзей и чад (из четверых детей к Радищеву в Илимск приехали двое; старшие сыновья, Василий и Николай, остались в России.

Издатели Собр. соч. 1807 г. дали этому стихотворению заглавие «Послание», явно по недоразумению. На самом деле, это вовсе не послание, а диалог; стихотворный разговор двух лиц, из которых одним является сам Радищев. Не разобрав, в чем дело, издатели в 1807 г. тем не менее отделили друг от друга все реплики диалога, но сделали это, повидимому, не сознательно, а следуя лишь указаниям рукописи. Они просто разбили стихотворение на куски, разделенные черточками (после стихов 7, 11, 17, 27, 28, 29, 32, 33, 49 и 53). Так стихотворение и печаталось под названием «Послание» и со звездочками, без толку делящими его на обрезки, в позднейших изданиях сочинений Радищева. В первом издании последний стих стихотворения заканчивается многоточием, указывающим как будто на незаконченность его. Однако в самом тексте стихотворения, во внутренней структуре его нет оснований для такого предположения, сделанного, повидимому, издателями.

«Час преблаженный». Напечатано в «Русском Вестнике» 1858 г., т. XVIII, декабрь, кн. I, в статье П. А. Радищева «А. Н. Радищев»; мы сверили текст по автографу статьи П. А. Радищева в архиве Института Литературы Академии Наук СССР. Поместив это стихотворение в Собр. соч. Радищева 1872 г., П. А. Ефремов озаглавил его: «Экспромт при известии о помиловании». Радищев пробыл в Илимске с 4 января 1792 г. четыре года. В начале 1797 г. пришло известие об указе Павла от 23 ноября 1796 г., освобождавшем Радищева от ссылки. К этому времени относится экспромт.

Журавли (басня). — Напечатано впервые в т. I Собр. соч. 1807 г. Это, без сомнения, автобиографическое стихотворение относится к последним четырем годам жизни Радищева, т. е. написано после возвращения его из Сибири в 1797 г. Это явствует из ст. 25—29, имеющих в виду окончание ссылки Радищева. В то же время можно думать, что стихотворение написано именно в период между 1797 и 1800 гг. включительно, т. е. до вступления на престол Александра I; в тех же ст. 25—29 речь идет о тихой пристани, в которой поэт нашел блаженство, «награду трудов». Между тем, в 1801 г. Радищев вновь приступает к трудам, к политической деятельности. Картина покоя, данная в этих стихах, скорей всего может относиться к 1797—1800 гг., когда Радищев, возвращенный из Сибири, был обречен все же на бездеятельность в деревне.

На он-пол — на́ ту сторону, на другой берег.

Осмнадцатое столетие. Написано в 1801 г. Напечатано впервые в т. I Собр. соч. 1807 г. Текст стихотворения в этом издании неисправен — ст. 16 дан в таком виде: «Ах, омоченно в крови век ты ниспадешь во гроб»; лишнее слово «век» мы устранили; но мы не можем взять на себя смелость выправить предыдущий стих, хотя и размер и смысл указывают, повидимому, на такое чтение: «Кровь — твоя колыбель, припевание — громы сраженьев». Ст. 19 («Мрачные тени созади, впреди их солнце») неполон; пропущено слово (во втором полустишии). Ст. 62 («Или погрязнет еще, ах, человечество глубже?») — неправильность размера указывает на испорченный стих. Ст. 70 («После тревог воззовет смертных достойный...») неполон; недостает, видимо, последнего слова. Ст. 76 («Екатериной, Петром воздвигнут, чтоб счастлив был росс») — может быть вместо «воздвигнут» надо «вздвигнут». Ст. 79 («Гений хранитель всегда Александр будь у нас...») — неполон; стихотворение обрывается на нем.

Сафические строфы. Напечатано впервые в журнале «Ипокрена», 1801, ч. X, стр. 288; потом в т. I Собр. соч. 1807 г. Написано, вероятно, в последние годы жизни Радищева. Стихотворение представляет собою опыт передачи на русском языке одной из распространенных в греческой и латинской поэзии строф, так называемой сафической строфы. Метрическую формулу этой строфы предпослали стихотворению издатели Собрания сочинений Радищева (1807). Здесь вслед за заглавием «Сафические строфы» напечатана схема:

— ∪ — ∪ — ∪∪ — ∪ — ∪
— ∪ — ∪ — ∪∪ — ∪ — ∪
— ∪ — ∪ — ∪∪ — ∪ — ∪
— ∪∪ — ∪

Этой схемы нет в «Ипокрене».

В тексте Собр. соч. есть одна явная ошибка: первый стих II строфы дан так: «Ты клялась верною быть вовеки», что нарушает размер. Кроме того, текст Собр. соч. имеет два варианта к тексту «Ипокрены»: ст. 3 — «нежны» вместо «нежно»; ст. 11 — «взаимно» вместо «взаимной».

Идилия. Напечатано впервые в т. I Собр. соч. 1807 г. Здесь в ст. 55 («В ней есть ум и сердце нежно») напечатано в «них», тогда как по смыслу надо «в ней»; мы исправили эту ошибку. Время написания неизвестно.

«Идилия» Радищева представляет собой вольный и распространенный перевод-переложение идиллии С. Геснера «Милон». Конечно, мыслей о свободе и неволе, заключающихся в стихах 10—20 радищевской «Идилии», нет у Геснера.

Песня. Напечатано в т. I Собр. соч. 1807 г. Время написания неизвестно. В Собр. соч. 1807 г. есть неправильность в графическом распределении стихов и в самом тексте третьей строфы; она дана в таком виде:

Нет, я ее люблю,
Любить вовеки буду;
Люблю, терзанья все терплю,
И верен ей пребуду.
    Терплю,
    А все люблю.

т. е. слиты в одну строку ст. 3 и 4, но явно пропущен один стих, пятый. В издании 1872 г., приготовленном П. Ефремовым (и уничтоженном цензурою почти полностью), этот стих восстановлен: «Ее не позабуду», но откуда взял этот стих Ефремов — неизвестно. Текст Ефремова повторен и в «Русской поэзии» Венгерова (1895, т. I, стр. 851). Мы заключаем этот стих в квадратные скобки.

Ода к другу моему. Напечатано в т. I Собр. соч. 1807 г. Время написания неизвестно. Стихотворение представляет собою распространенное подражание мотивам оды Горация к Постуму (кн. II, ода XIV).

Мастистый — душистый.

Молитва. Напечатано впервые в т. I Собр. соч. 1807 г. Время написания неизвестно. Может быть, относится к концу жизни Радищева (судя по содержанию). В издании 1807 г. последний стих закончен многоточием, указывающим, повидимому, на незаконченность стихотворения.

СОДЕРЖАНИЕ [1]

[1] Первая цифра обозначает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

Ответственный редактор В. Саянов. Технич. редактор А. Кирнарская. Корректор С. Шаталов. Леноблгорлит № 915 С. П. 56/Л. Тираж 5000. Сдано в набор 25/X 1939 г. Подписано к матрицированию 4/II 1940 г., к печати 4/II 1940 г. Печ. л. 10. Уч.-изд. л. 12,32. Бум. л. $2^1/_2$. Формат бумаги 82×108/32. Кол. знаков в 1 бум. листе 152 600 Набрано в тип. „Печатный Двор" им. М. Горького. Отпечатано с матриц в тип. „Ленинградская Правда", Ленинград, Социалистическая, 14. Зак. № 3042

5 р. 75 к. Переплет 1 р. 75 к.

Ленинградское отделение издательства «Советский Писатель» просит читателей дать отзыв как о содержании, так и об оформлении книги, указав свой точный адрес. Библиотечных работников издательство просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов.

Все материалы направлять по адресу: Ленинград, внутри Гостиного двора, 122.